



В номере:

По традиции ноябрьский номер — «Дружба на вырост».

«Только детские книги читать...»

В 2015 году мы впервые предложили своим авторам — писателям из России и «ближнего» и «дальнего» зарубежья — вспомнить КНИГУ своего детства и рассказать о том, что любят (и любят ли) читать их дети и внуки. В этом номере — новые писатели разных поколений и новые книги: «Три мушкетёра» и «Повести Белкина», «Пеппи Длинныйчулок» и «Динка», «Республика ШКИД» и «Легенды и мифы Древней Греции», «Винни Пух» и истории про Муми-троллей, «Приключения Бибигона» и «Робинзон Крузо», «Непоседа, Мякиш и Нетак» и «Легенда об Уленшпигеле»... За семь лет в нашей копилке собралось 125 историй книжной любви.

Дети индиго — кто они?

«Считывающий ворон», «понимающий дельфинов», «видящая ауру», «слепые и безгласные, утопающие в информационном поле»... Герои романа Сюзанны КУЛЕШОВОЙ «Игры индиго» — они кто? Несчастные непонимаемые родителями дети — или дети с особыми способностями, непонятным и, может быть, ненужным даром? «Костя может увидеть то, что очень хочет. Кроме мамы, кроме бабушки, кроме сестры, кроме реального мира. Но кто определил, какой мир реальный?» Порознь — им трудно. А собранные вместе — они готовы сбежать. Из нашего мира в мир собственных иллюзий.

«Если воздух соткан из чудес»

Не каждый поэт, даже чистый лирик, даже женщина-поэт, поэтесса или поэтка, могут писать детские стихи или писать для детей. Наши замечательные авторы с этой задачей справились.

Стихи Эгинны ФЕТ «Сом в летнюю ночь» — про необыкновенного Сома: «Не всякий сом гуляет псом/ на поводке ума,/ из неучёного сома/ до знаний приставуч/ стал сом, совсем как/ этот как, ну как его зовут».

Страшную сказку «Богатыри» про Алёшу Поповича и Илью Муромца по-новому рассказал Роман РУБАНОВ.

Стихи-раздумья Ольги ЗЛОТНИКОВОЙ — о доме и детстве, когда «тоскуешь не по времени даже, / не по плоти — по общей утробе/ света в каждом счастливом слове, / по его воробыиной храбости, / детской нежности...»

А Ганна ШЕВЧЕНКО честно призналась: «Я верю в сказки, в дедушку Мороза, / в добро, в машину времени, в любовь».

Достоевский 200+

«Несмотря на то, что многие восхищаются творчеством Достоевского, я считаю его сложным и немного несовременным».

«Достоевский заставил меня задуматься над вопросом: если убийство является самым страшным грехом, то все участники боевых действий, отнимавшие жизни других людей, должны гореть в ад?...»

«Самое главное: он предлагает не сваливать все свои неудачи на несовершенный мир...»

В юбилейный год мы предложили нашим постоянным авторам — белгородским школьникам — подумать о том, зачем сегодня русским — и не только — мальчикам и девочкам читать Достоевского.

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

11'2021

*Основан
в марте 1939 года*

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.ком>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ

Ольга БРЕЙНИНГЕР

Ирина ДОРОНИНА

Елена ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр СНЕГИРЕВ

Редакционный совет



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaoompk.ru тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

*Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.*

*Во всех случаях полиграфического
брата в экземплярах журнала
 обращаться в типографию, указанную
 в выходных сведениях.*

*При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.*

Сдано в набор 20.09.2021.
Подписано в печать 25.10.2021.
Формат бумаги 70 x 108 1/16
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 8777. Цена свободная.

Мария АНУФРИЕВА

Сулейман АФЛАТУНИ

Муса АХМАДОВ

Ольга БАЛЛА

Дмитрий БИРМАН

Денис ГУЦКО

Иван ДЗЮБА

Ольга ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид НАГИМ

Илья ОДЕГОВ

Кнут СКУЕНИЕКС

Сергей ФИЛАТОВ

Ренат ХАРИС

Вячеслав ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН



СОДЕРЖАНИЕ

«Только детские книги читать...» В заочном «круглом столе» принимают участие:
Вера БОГДАНОВА, Ксения БУКША, Евгений БУНИМОВИЧ, Керен КЛИМОВСКИ,
Владимир ЛИДСКИЙ, Ирина МУРАВЬЁВА, Лев ОБОРИН, Алексей ПОЛЯРИНОВ,
Андрей РУБАНОВ, Антон СЕКИСОВ, Булат ХАНОВ, Евгений ЧИЖОВ,
Дмитрий ШЕВАРОВ 3

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Эгвина ФЕТ. Сом в летнюю ночь. Стихи	30
Сюзанна КУЛЕШОВА. Игры индиго. Роман	34
Ольга ЗЛОТНИКОВА. Как детский шарик золотой. Стихи	121
Надя АЛЕКСЕЕВА. Два рассказа	125
Татьяна МЛЫНЧИК. Ксения Петербургская позвонит. Рассказ	143
Ганна ШЕВЧЕНКО. В кругу такого водевиля. Стихи	148
Максим ГУРЕЕВ. Сова. Рассказ	151
Никита КОНТУКОВ. «Кровь моя, за вас изливаемая». Рассказ	161
Роман РУБАНОВ. Богатыри. Стихи	169
Ирина ГОРОШКО. Рассказы	173
Дмитрий СИРОТИН. Красный свет детства. Рассказы	185
Ольга МИХАЙЛОВА. Для Бога времени нет! Стихи	190

УРОКИ ОБЖ

Евгений БУНИМОВИЧ. Один день из жизни детского омбудсмена	192
---	-----

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Из тайных архивов русской школы. <i>История образования в портретах и документах</i>	201
---	-----

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Возможна ли «кровь по совести»?.. <i>Белгородские школьники читают Достоевского</i>	234
---	-----

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Николай АЛЕКСАНДРОВ. «Жизни спутанные нити» (С.Беляков. «Парижские мальчики в сталинской Москве»)	251
Ольга ГЕРТМАН. Иномосковье, которое всегда с нами (Н.Беленькая. «Девочки-колдуны»)	254
Мария АНУФРИЕВА. Недетская история игрушек (<i>«Дизайн детства: Игрушки и материальная культура детства с 1700 года до наших дней»</i>)	257

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Огромная, как большой мир (<i>«Дочки-матери, или Во что играют большие девочки»</i> ; Ева Левит. «Мама, ты лучше всех!»)	262
--	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Эй, взрослые!	268
-----------------------------------	-----

«Только детские книги читать...»

В заочном «круглом столе» принимают участие:

*Вера БОГДАНОВА, Ксения БУКША, Евгений БУНИМОВИЧ,
Керен КЛИМОВСКИ, Владимир ЛИДСКИЙ, Ирина МУРАВЬЁВА,
Лев ОБОРИН, Алексей ПОЛЯРИНОВ, Андрей РУБАНОВ,
Антон СЕКИСОВ, Булат ХАНОВ, Евгений ЧИЖОВ,
Дмитрий ШЕВАРОВ*

В 2015 году «ДН» впервые предложила своим авторам — писателям из России и «ближнего» и «дальнего» зарубежья — вспомнить КНИГУ своего детства и рассказать о том, что любят (и любят ли) читать их дети и внуки.

В этом номере — новые писатели и новые книги.

За семь лет в нашей копилке собралось 125 историй о любви.

Вера Богданова, прозаик (г. Москва)

«Вот она — взрослая жизнь, полная приключений...»

«Четыре товарища пустились в путь: Атос на лошади, которой он был обязан своей жене, Арамис — любовнице, Портос — прокурорше, а д'Артаньян — своей удаче, лучшей из всех любовниц».

Дюма-отца не принято считать серьезным писателем. Качество страдало от количества: платили ему построчно, поэтому писал он много и даже ввел в «Трёх мушкетёров» персонажа, молчаливого Гримо, который отвечал однословно. Этот ответ тоже считался за строку и потому оплачивался. Дюма упрекали в том, что он вырезает куски из пьес других авторов и вставляет их в свои, что он покупает рукописей на двести пятьдесят франков, чтобы затем перепродать их за десять тысяч. Он написал путеводитель по Египту, хотя ни разу в Египте не был. Он нанимал помощников-соавторов (ходили слухи, что их у него собрался целый штат), был хвастуном и вралем, но все это, по сути, не имело значения. Как писал Андре Моруа в «Трёх Дюма»: «Его обвиняли в том, что он забавен, плодовит и расточителен. Неужели для писателя лучше быть скучным, бесплодным и скаредным?»

Я в свои шесть лет ничего из этого не знала, и мне все нравилось.

Мы с бабушкой были в гостях, и тут по телевизору показали его: советский трехсерийный музыкальный телефильм «Д'Артаньян и три мушкетёра», снятый в 1978 году на Одесской киностудии режиссером Георгием Юнгвальд-Хилькевичем. Тот самый, с потрясающей музыкой Максима Дунаевского, шляпой Михаила Боярского и его тысячей чер-ртей и мерси боку. Посмотреть я успела лишь первую серию. Дома телевизора не было — бабушка считала, что нужно читать книги и учиться, а телевидение отвлекает и от первого, и от второго, поэтому я — разве у меня был выбор? — читала запоем все, что попадалось мне под руку. Просто мне было смертельно скучно.

Вернувшись домой, я отыскала в шкафах подпиську Дюма-отца — иллюстрированные и увесистые тома 1978 года, на которые я раньше не обращала внимания. По их желтоватым страницам до сих пор можно определить, когда я сидилась есть: прозрачное жирное пятно от упавшего ломтика жареной картошки здесь, следы от пальцев там, загнутый уголок. «Трёх мушкетёров» я проглотила за два дня и тут же принялась за «Двадцать лет спустя». Разумеется, д'Артаньян говорил в моей голове исключительно голосом Михаила Боярского, Атос, Портос и Арамис выглядели как Смехов, Смирнитский и Старыгин, а в конце каждого абзаца я мысленно добавляла «тысяча чер-ртей!».

«Три мушкетёра» сформировали Идеальный Париж моего детства: солнечный, добрый и чистый, сказочно-прекрасный. Опасный, но ровно настолько, чтобы приятно пощекотать нервы. Когда в две тысячи тринадцатом году, на Рождество, я впервые побывала во Франции, мой Идеальный Париж вдруг оказался смесью романтической фантазии Дюма, Львова и Одессы. Настоящий же Париж не имел с этим образом ничего общего. Я все пыталась отыскать знакомые с детства виды, но фантазия не стыковалась с реальностью, не смыкалась с ней ни одним углом: настоящий Париж был холодным, ветреным, сероватым. На его улицах я никак не могла представить кареты и мушкетеров, их вытеснили автомобили и туристы, делающие селфи. С тех пор я не очень его люблю — хотя, может, дело было в том, что в Париж я прилетела почти без денег и питалась запахами из ресторанов.

«Три мушкетёра» — роман-фельетон, образчик нового для начала XIX века жанра: авантюрный роман, который сначала выходил по главам в газетах и лишь затем был издан в виде книги. Главной задачей автора романа-фельетона было привлечь и захватить внимание читателя. В этом Дюма-отцу не было равных. Он работал по 12 часов в сутки, переписывая и дополняя тексты, которые приносили ему нанятые «соавторы», добавляя детали и закручивая интригу, обрывая повествование на самом интересном моменте.

Удачей «Трёх мушкетёров» стал не только увлекательный сюжет, но и обаятельные главные герои. Четыре характера, которые, по мнению того же Моруа, отражают «настоящий французский дух»: храбрый до безрассудства, порывистый гасконец д'Артаньян (так похожий на самого Дюма), меланхоличный и загадочный Атос — аристократ с темным прошлым, элегантный соблазнитель Арамис и силач Портос. Персонажи настолько разные, что иногда непонятно, как их вообще свела судьба, в реальности такая дружба вряд ли возможна. Они живые, полнокровные, смелые, не лишены недостатков: д'Артаньян излишне вспыльчив, Портос любит поесть, у Арамиса связи с замужними дамами, а Атос, судя по всему, довольно депрессивный тип. Так они становятся еще ближе читателю, — не безупречные хирургически-ледяные образы, а такие же, как и мы с вами, обычные люди, к тому же бесстрашные, чистые душой, не способные на подлость и обман. Честь превыше всего. Дружба превыше

всего. Не думая, мушкетеры бросаются в бой, совершают подвиги, куда-то мчатся, чуть что вытаскивают шпаги и бросают эффектные реплики — Дюма мастерски писал диалоги. Герои соприкасаются с реальными историческими личностями и сами становятся частью большой истории, так или иначе влияют на ее ход — мечта о великой судьбе, которую отчасти воплощают современные авторы в фантастических романах о «попаданцах», когда обычный парень вдруг оказывается в теле Сталина/Наполеона/президента любой страны на выбор.

К слову — об истории: история в исполнении Дюма имеет мало общего с реальными событиями во времена правления Людовика XIII. У Дюма она красочная, выстроенная на контрастах. Добро и зло, плохие герои и хорошие — очень четкое, абсолютно нереалистичное и наивное разделение, которое прекрасно работает в приключенческих романах и идет на ура у молодого читателя. Сколько раз в детстве мы с друзьями играли в мушкетеров (все хотели быть Атосом, Арамисом или Миледи, а Констанция как-то проигрывала на общем фоне), фехтовали на палках, один за всех и все за одного. Вот она — взрослая жизнь, полная приключений, вот она — настоящая дружба, которую не в силах разрушить даже смерть... ну или крик с балкона, что пора домой, сколько же можно, уже темнеет.

«Три мушкетёра» — в первую очередь роман о заре жизни, который и нужно читать на этой самой заре, когда еще веришь в дружбу до гроба, в верность до самоотречения, в любовь на разрыв. За это яркое ощущение настоящей жизни и вкус ненастоящего Парижа Дюма-отцу, великому рассказчику историй, умеющему держать внимание читателя от первой строчки до последней, мое *merci beaucoup*.

Ксения Букша, прозаик (г. Санкт-Петербург)

«Как будто всё время нечто оставалось за углом...»

А.А.Милн. Винни-Пух и все-все-все. Художники Калиновский и Диодоров.

Я погуглила это издание: при мне у книги уже не было суперобложки. Раньше книгой владели мои дядя и изрядно ее заляпали краской. Одна страница была совершенно залита красным, на другой отпечатался кружок (стояла баночка с водой). В некоторых местах были карандашные рисунки (в частности теми карандашами, которые получил Винни-Пух), например, на форзаце — ирреальный, похожий на пятно, но все же узнаваемый силуэт пионера, отдающего салют. Иллюстрации, как и эти случайные пятна и каракули дядьев, производили на меня (6—7 лет) огромное впечатление. Я имею в виду прежде всего лаконичные картинки, черно-белые с зеленым, например, картинку, на которой Иа-Иа опустил хвост в воду, или ту, где Сова бредет куда-то с травинкой в клюве, или (самая-самая) ворона, сидящая на дереве при наводнении. Были там и подробные цветные картинки, от которых у меня создавалось ощущение застывшего цветного ковра, похожего на загадку, где главное скрыто. (Например, картинка «поехавшего» в результате урагана интерьера в доме Совы.) Вообще эта загадочность мира (Леса) была во всех иллюстрациях, да и в тексте тоже. Как будто все время нечто оставалось за углом — что невозможно рассказать, описать; в этом не было никаких эмоций, и при этом оно (это нечто) было очень

Ольга Злотникова

Как детский шарик золотой

* * *

с камнем в груди и дитём на руках,
кто там сегодня башкой в облаках,
сам на себя не похожий?

кто на Твоём ежедневном посту
даже себе самому не пастух,

кто там сегодня стоит на мосту
с содранной кожей?

кто умаляется день ото дня,
кто там ревёт ревмя?
Господи, это я.

не покидай меня.

* * *

я не помню, не помню, какие сегодня
с утра глаза надела,
и смотрю чужими, как осень длится,
идёт четвёртая её неделя,

вспыхивают и отлетают листья,
вспыхивают и ускользают лица,
и пока в моей сердцевине,
в сердце женщины-яблока,
зреет семечко,

Злотникова Ольга Сергеевна — поэт, переводчик. Родилась в 1987 году в Минске. Училась в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Автор книг стихотворений «Паства» (2016) и «Радогощенский дневник» (2018). Живет в Минске.

чужие мои глаза
не видят моего сына,
не говорят *спасибо*.

дрогнет ветка, глухо-глухо
оземь ударится спелый плод,
и станет совсем тихо.

чужие мои глаза, вот я перед вами,
здесь, на земле,
человеком беременной,
кто помолится обо мне?

* * *

кто нищ, как рассветный двор,
заметённый листвой,
блеск на воде, лик Твой затаённый,
но светлый, светлый
и распахнут,

с дарами иными приходит:
горчайшее ничего
кладёт на грудь, как младенца
белая акушерка,
в нём неба могилы и взгорья.

теперь, говорит, качай
всю эту пажить большую, живую.
и что же? качаю,

древнюю припоминая
то ли колыбельную,
то ли обрывки заутрени,
пока ночь не отступит.

* * *

с каждой смертью
прозрачнее становишься сам,
просвечиваешь насквозь
эту свою пустоту,
ищешь и не найдёшь:
человека вынули, и он внутри тебя зияет,
как бы на другом конце провода
говорящая простота.

тоскуешь не по времени даже,
не по плоти — по общей утробе
света в каждом счастливом слове,
по его воробыиной храбости,
детской нежности,
или как вы сидите на кухне за полночь,
родными голосами поёте.

* * *

в голод вещей простых,
как дым или дом на горе
вдуваешь жизнь, вдыхаешь свет,
сгустки крови и плоти земной,
спрашиваешь: кто ты, с кем ты?
постой со мной

и как прорастают лица
ростками, цветами
так нам ещё предстоит случиться
пройти забытыми, детскими своими местами

вот дом, вот дым, ветряки за холмами
флоксы и мальвы
и те, кто незримо идут за нами,
придут за нами,
пройдут над нами

* * *

если ты тоже исчезнешь
в нехватку уйдёшь, из которой возникла
останется тело окна на двоих
его вещество со следами дыханья
его слепота и моя слепота
как друг подле друга
две трудные правды
его нагота и моя нагота
как друг перед другом два тела чужих

и всё же есть чаша терпенья на память
о той простоте, из которой открылись
моление вещи и птицы
объятие капель и утра
высокий неслышный полёт
над светлою пажитью снега
и этот младенческий взгляд
на всякой светящейся короне

и памяти смертной живой мотылек
на тёплой, чуть влажной ладони

* * *

чистописание, смиренье,
бытописанье в тесноте.
а помнишь — обхватив колени,
на детском стуле, без затей

о чём-то думаешь неважном,
краеугольном и живом,
как будто клеишь дом бумажный,
как будто шьёшь иглой портняжной
себя — крестообразным швом.

и заполняешь дом зверями,
кроватку каждому и стул,
пока плывёт к оконной раме
садами, парками, дворами
глухой, волнообразный гул.

и населяешь дом тенями,
молочным ужасом любви.
а тело линии меняет,
не приходя во взрослый вид,
и лето в обморок стоит.

потом во вдавленном пространстве,
под медленной большой пятой,
всё так же думаешь о разном,
как будто бы в обхват прекрасном,
как детский шарик золотой,
и мир садится как влитой

на узаконенное тело,
сцепление, угол и обрыв,
а тело слушать расхотело,
а тело в небо улетело,
своё учение отбыв.

чистописание, смиренье,
игра в себя, без дураков.
потом меняешь оперенье,
разметку, ракурс, угол зренья,
и был таков.

Проза

Надя Алексеева

Два рассказа

Одарённые девочки

Перед монитором, глядя в глазок камеры, сидит девушка. За ее спиной в кроватке спит ребенок. На плечиках висит большой мужской пиджак. Серый.

«Понимаешь, Марго, я больше всех хотела быть как все, — начинает, включив запись, девушка шепотом. — И когда убегала через заросли борщевика подальше от бани, — особенно. Здесь такие не растут, а тогда ядовитые листья щекотали ноги, потом полотенце упало, ветка хлестнула меня по щеке. Пахнет тиной, кружат мушки. В классе они летают углами. Я слышу его шаги, он сухой такой, подтянутый — идет быстро и палкой разбивает заросли борщевика по сторонам. Снова этот "взух-взух". А потом он остановился. В тот момент, единственный раз в жизни, я пожалела, что не уродилась еще меньше. Такой, чтобы он меня никогда не нашел. И тут он, Васюк, хм, Сергей Сергеич, крикнул прямо над головой: "Даша!" Прислушался. И опять: "Даша! Дарья, учти, кругом л-лес, а ожоги от борщевика надо обработать обязательно". Голосом, которого ослушаться в школе "ИКС" было немыслимо. Мы шли на этот голос, мы ему верили. Думаю, если бы он сказал мне тогда: "Съешь борщевик и ложись спать", — я бы так и сделала. Не проснулась бы на утро. Но сделала.

Школа "ИКС" не потому икс, что это секретное какое-то видео будет, наоборот. Ты его увидишь. Хотя... Много лет пройдет. А название — аббревиатура, которая понравилась маме моей. "Интеллект, Красота, Совесть". Половина выпускников в МГУ прямым ходом. Да, ну чего молчишь-то? Кроме того, это тут же, в Ясенево, возить тебя не надо будет.

Из интервью с сотрудником НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского:
"Прикосновение к нему [борщевику] не доставляет никаких неприятных ощущений. Именно в этом и есть его главное коварство. Ведь после контакта с растением ожог появляется не сразу, а спустя время — через несколько часов или даже дней".

Надя Алексеева — прозаик, драматург, редактор. Родилась в Подмосковье. Печаталась в сборниках малой прозы «Вечеринка с карликами», «Пашня», в сборнике пьес «Близкие люди». Лауреат международной премии для драматургов «Евразия 2021», участница слета молодых литераторов в Болдино и литературной смены «Таврида.Арт». Живет в Москве и Алуште. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Я тогда еще медленно очень ходила, и сейчас сижу высоко на стуле, потому что подушку подкладываю специальную, для невысоких. Официально я не карлик, если что. Но это все спасибо аппарату Илизарова. Нас там много таких было, в НИИ нашем, курганском, с диагнозом... Ну, с разными диагнозами, травмами. Аппарат выглядел страшно: металлические кольца, штыри, — зато мог сантиметров десять в росте дать, для маленьких это значит, дотягиваться ты до кнопки лифта или нет. Я год этот аппарат носила на ногах, потом полгода к старшим классам восстанавливала. Но руки у меня все равно коротковаты и голова большая. Мама, забирая меня из "Отделения регуляции роста детей", подписывая бумаги, кивнула врачу. Вроде как довольна ремонтом.

Мы с ребятами из палаты общаемся до сих пор. Не со всеми, конечно, у нас группа своя ВКонтакте, с кем-то вижусь лично. Они меня на прощанье обнимали — такое теплое-теплое объятие, наверное, тогда я поняла, как обнимают по дружбе, а как — по-другому... Обниматься у нас в семье не было принято. Не знаю, почему, может, мама, смотря на меня, надеялась, что мой рост — какая-то оптическая иллюзия. Дотронешься — а это реальность. Мне только исполнилось пятнадцать, я экстерном окончила девятилетку, прочитывала все, что мама присыпала. Она экзаменовала меня из командировок. А я отвечала. Мама и раньше понимала (ну и по оценкам тоже), что обычной, несмотря на все ее связи, я уже не вырасту, умной — весьма вероятно. Я врачом стать хотела... Математика мне не давалась, вот мама на ИКС и вышла. По рекомендации».

Даша слышит плач, останавливает запись, подходит к кроватке, качает ее, открывает книжку с картинками, читает вслух: «Туся, Туся! Смотри, это же наша любимая: "Скорлупа грецкого ореха служила ей колыбелькой, голубые фиалки — тюфяком, а лепесток розы — одеялом. Ночью она спала в колыбели, а днем играла на столе"». Плач затихает, Даша возвращается за стол.

«Так, ну вот. Из-за восстановления я пришла в школу зимой, а не осенью, как положено. Вообще, в ИКСе не было классов для девочек и для мальчиков, но, так как брали одаренных детей и стоило это все прилично, и методика была новая (некоторые родители побаивались), получилось, что в моем классе одни девочки. Они ходили парами, на каблуках, показывали друг другу какие-то смски. На меня смотрели с едоверием, будто я у них отнимаю что-то ценное. Шушукались, надолго запирались в туалете перед алгеброй или геометрией (их вел директор, Васюк) — накраситься или повторить в тишине домашку. Учились мы до ночи, по университетской программе, на олимпиады-турниры учителя возили нас лично, и мы часто возвращались с призами.

В Конституции школы, которую завуч выдал мне, обняв сзади за плечи, было указано, что у них принято "красиво мыть пол, целоваться и иметь любимчиков", с которых и спрос ого-го. Фамилия завуча была Ягода.

Из Конституции элитной московской школы ИКС:

"Насилие — любое ограничение прав и свобод, любые действия против личности, любое принуждение. Действия, вызывающие применение насилия, должны быть известны заранее, а процедуры применения насилия, по возможности, неизменны".

Ягода встречал нас у входа в школу. И целовал в щеку, часто промахиваясь. В моем случае, как он ни нагибался, мясистые красные губы попадали лишь в лоб.

Он называл учениц "мои ласточки" и просил, чтобы ему рассказывали о всех делах с родителями, ведь дома нас не понимают, потому что родители — обычные, советские, а мы — "одаренные девочки". Ягода игал роль школьного психолога. Когда мы с Риткой мыли пол, — она приносила воду, ведро мне было не поднять, — пришла смска от Ягоды: "Дашенька, срочно в мой кабинет на беседу". Ритка заглянула через плечо: "Не ходи". Она не красилась к алгебре, не носила каблуки. От линолеума, который я натирала старой тряпкой, пахнуло гнилью.

В ИКСе училось всего полсотни человек, 8—11 классы. Следующим утром Ягода был не в духе, собрал линейку и говорил о том, что мы — избранные среди избранных и должны поддерживать традиции. "Если не научитесь дружить, нашу семью придется покинуть. Мне искренне жаль такое говорить, но это так". И тем же днем Ягода принимал в своем кабинете и моих одноклассниц, и параллельный поток. Еще на линейке я отметила, что мальчиков в ИКСе совсем мало, и их кумиром был Васюк. Основатель, в прошлом крутой программист. Вот... Васюк настаивал на том, что мы взрослые люди, которых следует оградить от родителей: "Инфантилизм — вот чем болеет ваше поколение. Ну, н-ничего". Он обещал дать нам свободу, которая встанет аж поперек горла: запрокидывал голову и ладонью бил себя под бородой. Знаешь, Марго, а ведь мы аплодировали».

Даша усмехается без радости. Ребенок за спиной фыркает, хрюплю плачет. Даша вскакивает, одной рукой качает кроватку, другой держит книгу, читает со случайного места и показывает ребенку картинки: «Тусь, смотри, какой важный крот!» Читает: «Крот взял в зубы кусок гнилушки — она ведь светится в темноте — и пошел вперед, освещая длинный темный коридор». Ребенок засыпает. Даша стоит над кроваткой, возвращается за стол, кладет книжку рядом с собой.

Из родительского чата ИКСа:

Mich1980: Подскажите, пож, вы Кате репетитора брали по математике? Че-то наша не тянет...

Olga: Да мы не брали, у нее с СС хорошие отношения, думаем, пройдет по Всероссу. А ваша, что, не дружит с ним?

«Да, Васюк. О нем сложно так говорить... Особенно с тобой. Свитер колючий, заикался слегка, цвет глаз я не помню. Взгляд такой... Знаешь, я ночью еще открыла фотографии школьные — ведь он был выше меня едва ли не на две головы...

Васюк мог кивнуть любой девочке в классе, и та становилась знаменитостью. К ней сразу приглядывались другие учителя, одноклассницы норовили подсесть к ней в столовой, копировали ее стиль. Девочки еще росли, у них круглились формы, на них красиво сидели юбки. Клетка и шелк были в моде. Мое тело выросло, сколько могло, и все, застыло, становясь лишь более рыхлым от конфет. Мы бесконечно шуршали фантиками под партой, и Васюк не цыкал. После новогодних каникул красавица Катька сказала, что Васюк занимался алгеброй с ней лично на даче в Лесуново. Девчонки тут же увели ее шушукаться в туалет. А Васюк, появившись в классе, погнал к доске новую "любимицу". Он начинал урок так: "Итак, представь, что на Земле..." Расхаживал вдоль доски, за ним вертелись головы — одуванчики за солнцем. Он выстраивал программу для "человека универсального". Думаю, по его лекциям и ты могла бы сейчас учиться».

Татьяна Млынчик

Ксения Петербургская позвонит

Рассказ

Вечером накануне штурма вершины Эльбруса в альпинистской обвязке и шапке-петушке я кралась в знаменитый, нависший над пропастью сортир: делать тест на беременность. Убедиться, что рисковать по пути на высочайшую гору страны буду исключительно собой. К деревянному домику с окошком-сердечком горные туристы приходили фотографироваться. Самый романтический туалет на Земле! Я переносила ботинки через сугробы и рассуждала: если залетела, поход псу под хвост. Приехать на Эльбрус, тренироваться, постепенно увеличивая высоту, вести тщеславный репортаж в Инстаграме, а на вершину так и не забраться! Потом представила себя тут же, через пятнадцать лет, рядом с голубоглазым подростком.

— Видишь сортир? — спрашиваю я. — Там я узнала о тебе.

— Вот гадость! — он сдувает с обгоревшего лба челку: ему бы свалить за домики да покурить.

После манипуляции с тестом я с грохотом отворила деревянную дверь: кусочек пластика с единственной красной полоской улетел в бездну под Кавказским хребтом вместе с чуваком, которого на этот раз звали Кузей. Хохмачем и задирой. Моим несуществующим сыном. Пока, Кузя!

Сколько подростков я выдумала за последние пару лет? Пацанов, девчонок, одиннадцатилетних сорванцов и моих личных, рукотворных Пеппи Длинный Чулок? Вудиалленовские диалоги, визг, вздохи, муж секундирует его первый бой, я зачитываю ей вслух Горчева: все, что успевает мигнуть в сознании, пока белая поверхность теста проявляется неизменным результатом, уже тянет на сборник рассказов. По дороге к домику я ощутила запах освещенного солнцем снега. Всех этих детей не существует. А гора — вот она, манит пиком в восьми часах ходу. Она стерильно реальна, и уже утром зубья моих «кошек» вонзятся в ее лысую макушку.

Когда альпинисты планируют штурм, их делят на группы по три-четыре человека. Каждую ведет отдельный гид, следит за всеобщим самочувствием. Если кто-то из

Татьяна Млынчик (Батурина Татьяна Витальевна) училась на факультете журналистики Санкт-Петербургского Государственного Университета. Участница 20-го Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья «Липки». Рассказы печатались в альманахах и сборниках. Автор романа «Ловля молний на живца» (ЭКСМО, 2021).

Живет в Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

минигруппы не может или не хочет идти дальше, восхождение прерывается для всех. В горах все должны подчиняться лидеру. Среди нас были девчонки, которые трусили, а еще пара человек, у которых уже возникли физические проблемы: шла носом кровь или началась мигрень. Я твердо заявила, что планирую взойти и хотела бы быть в сильной группе. «Монстр ты, Танька!» — бросил кто-то. А что тут такого? Я готовилась, прошла акклиматационные выходы в превосходном самочувствии... Почему какая-то клуша, которая не может разобраться со своими желаниями, должна сорвать мои планы?

После восхождения мы с альпинистами отмечали в кафешке, пили красное вино, ели мясо, напитывая тела кислородом. Гиды раздали всем маленькие значки «Альпинист России». Экран телефона с очередным поздравлением поплыл, и я выбралась на воздух. Эльбрус в сумерках был уже не великаном, а походил на сладкий торт «Панчо». Мои щеки пульсировали.

За уличным столиком, уткнувшись в телефон, сидел Кузя. Я опустилась на скамейку рядом с ним.

— Все-таки остался?

— Что, простите? — мальчишка дернулся.

— Сигаретки не будет? — я щурилась, его лицо кружилось в пунше вечерних огоньков.

Подъем в час ночи. Собачий холод и ветер. Взрывная нагрузка. Спуск с высоты пять тысяч метров на две. Полбутыли красного вина. Хочу заметить, что не одна я так напилась в тот вечер.

Ночью услышала шепот: «Знаешь, почему я не остался? Увидел, как ты открешиваешься от слабачков». Жирный дым его сигареты окутал мою голову, дышать стало тяжело, как там, на высоте. Я закашлялась и нашупала на тумбочке аспирин. Села. В гостиничной комнатке было пусто.

«Галлюцинации в горах — дело житейское, — предупреждал рыжебородый гид Гриша. — Главное, вовремя разжижать кровь».

* * *

— Всё просто: души детей не летят к вам, — поясняет голос в трубке.

С Эльбруса прошло два года. Идиопатическое или необъяснимое бесплодие — это медицинский диагноз, который означает, что причины отсутствия беременности не выяснены.

На днях, за ужином в ресторане друзья рассказали о чумовой тетке, нумерологе. Пощуптковали, но номерок я записала. Теперь, заперев дверь кабинета, чтоб никто из коллег не застукал меня за сомнительной коммуникацией, слушаю голос из трубки. Нумеролог продолжает:

— Злитесь много. На мать. На бывших. Души боятся.

— Что же делать?

— Надо приманить их. Стать доброй.

— Как это? — спрашиваю рассеянно: кто-то дергает ручку кабинета.

— Это вам и без меня должно быть известно.

* * *

Медсестра в фиолетовом костюме наклоняется и произносит:

— Татьяна Витальевна? Пойдемте.

Поэзия

Ганна Шевченко

В кругу такого водевиля

* * *

Район покрыли белые волокна,
у дома ёлки выстроились в ряд,
зиме неделя, но уже на окнах
гирлянды синим пламенем горят.

Медведицы горох на небе сеют,
выращивают варежки для зим,
а вот и я, подобно Одиссею,
иду за ветром в дальний магазин.

Над городами носится угроза
войны миров, но сколько ни злословь,
я верю в сказки, в дедушку Мороза,
в добро, в машину времени, в любовь.

Считать снежинки — сложная наука,
но на дворе такая милота,
что кажется, все котики фейсбука
от носа распушились до хвоста.

* * *

Как неуместен, слеп и зыбок
несётся снег по пустырю —
я с высоты своих ошибок
на поле белое смотрю.

Сейчас, как в северном Китае,
дождям бы слиться в хоровод,
но снег идёт, идёт, не тает,
не тает, тает, но идёт.

Шевченко Ганна Александровна — поэт, прозаик. Родилась в городе Енакиево (Украина). По образованию финансист. Автор четырех сборников стихов, в том числе «Форточка, ветер» (М., 2017), «Путь из орхидеи на работу» (М., 2020), и книги прозы «Забойная история, или Шахтёрская Глубокая» (М., 2018) и др. Лауреат Международного конкурса им. Фазиля Искандера (2017). Живет в Подмосковье.

В кругу такого водевиля,
в сезон инфекций и простуд,
тебя, как бабочку, пришиплют
и выбор сделать не дадут;

и будешь дёргаться, беспечно
своё ругая остиё, —
жизнь коротка, а значит, вечна,
и нет прекраснее её.

* * *

Столетний дуб веранду освещал,
роняя листья рядом с дымоходом, —
осенняя привязанность к вещам
становится сильнее с каждым годом.

Таится свет в знакомых мелочах —
желтеют окна долгими ночами,
и старый, огрубевший молочай
к советской люстре тянется лучами.

Какая всё же это благодать,
не думая о прошлом, не терзаясь,
сквозь плачущие стёкла наблюдать,
как листья на деревьях исчезают.

Уверена, когда-нибудь потом,
в реальности другой, заледенелой,
на этом месте будет умный дом
с голубоватым отсветом панелей.

Но даже там, где время истекло,
где реют боги, землю отключая,
проступит сквозь дождливое стекло
зелёное сиянье молочая.

* * *

Все, переболевшие ковидом,
начинают верить в чудеса,
пандемию выдумал Овидий,
чтоб уединиться и писать.

Снег сегодня чист, как на картине,
даже под приступками аптек,
я вчера была на карантине,
но теперь свободный человек.

По земле всё так же ходят люди
с полными пакетами и без,
стоит ли заботиться о чуде,
если воздух соткан из чудес.

Романист с улыбкой Эйс Вентуры
на витрине блещет красотой,
мне ж милей киты литературы —
Достоевский, Чехов и Толстой.

Закупила гору витаминов
и давай о будущем мечтать —
постарею, сяду у камина,
буду Карамазовых читать.

Три большие пламенные птицы
в облаках над городом кружат.
Выпить чаю? Сдохнуть? Удавиться?
Продержаться. Выстоять. Дышать.

* * *

Глинтвейна горячего мне бы,
повсюду крепчает мороз —
дорога от дома до неба,
увы, не из розовых роз.

В фейсбуке воют, наверно,
сторонники разных систем,
а я, человек постмодерна,
не верю ни этим, ни тем.

Когда-нибудь грянет суббота,
часам начинаю отсчёт —
давай, дядя Ваня, работать
покуда мы живы ешё.

Максим Гуреев

Сова

Рассказ

Долго урчал во внутренностях замка ключ, чавкал, словно служдал там в темноте, будто бы наугад давил на клавиши пневматического музыкального орудия, что издавало звуки, выводило ноты, даже получалась некоторая складная мелодия, отдаленно напоминавшая Ach, du lieber Augustin, а педали при этом перемещались самостоятельно, поочередно сжимая и разжимая пружины, сжимая и разжимая их, говорю, приводя таким образом ригель в движение.

Наконец, дверь открылась.

Вернее, ее открыл Сова, который при виде меня как-то чудно скривился и затворил лицо ладонями.

— Опять ячмень, что ли? — спросил я.

Он закивал головой, раздвинул указательный и средний пальцы на обеих руках, выглянулся из образовавшихся щелей, но тут же и зажмурился. Спрятался таким несусальным, одному ему ведомым образом за кое-как сколоченным из горбыля забором...

Так уж повелось, что ячмень всякий раз мы лечили спитым чаем, прикладывали его к нарыву, а когда чай высыхал и превращался в россыпь дохлой мошкеры, при помоши намотанной на чайную ложку марли его приходилось счищать с подбородка, утирати ввалившиеся щеки. А потом еще из ваты изготавливали тампоны, чтобы промокать ими распухшее веко.

— Видишь чего-нибудь?

— Нет, не вижу.

— А ну, дай! — снова по щекам и подбородку начинала струиться теплая заварка, и дохлая мошкара сразу же ожидала, а Сова принимался извиваться, словно ему было больно. — Не ври, не больно тебе нисколечко.

— Я боюсь, что вдруг мне станет больно, а я к этому не буду готов.

— Да не будет больно, я тебе говорю.

Гуреев Максим Александрович родился в Москве в 1966 году. Окончил филологический факультет МГУ, занимался в семинаре Андрея Битова в Литинституте. По профессии — режиссер документального кино, снял более семидесяти лент. Автор книг и монографий. Печатался в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы» и др. Лауреат Премии журнала «Дружба народов». Живет в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 11.

Сова, будто рыба, ловил раскрытым ртом воздух, вываливал язык, издавал угробные звуки, давился ими.

— Ведешь себя как девчонка, противно просто!

— Всё?

— Всё! Только смотри, глаз не три!

Воровато озираясь, мальчик уходил вглубь комнаты, где за занавеской стояла его кровать, ложился и отворачивался лицом к стене, чтобы там, где его никто не видит, трогать заплывшее веко, вздрагивать от этих прикосновений и мычать.

И, действительно, этого никого не мог видеть, но мычание выдавало его.

— Перестань, я тебе говорю, не выздоровеешь тогда. Еще и ослепнешь не дай бог на один глаз, станешь одноглазым...

«Как циклоп», — тут же приходило мне в голову, рождалось из последовательности слов, аллюзий, разрозненных воспоминаний, однако я не произносил этого вслух. И в ответ сразу же наступала гробовая тишина, это просто Сова замирал, каменел, вытягивался в струну, складывая руки по швам и, выгибая спину, тянул носки, словно готовился нырнуть солдатиком с бетонного волнолома.

Летом на волноломе негде было яблоку упасть...

Раскаленный на солнце рябой бетон был здесь расцвечен махровыми полотенцами, полосатыми покрывалами и пятнистой в разводах одеждой.

Я, как помню, вставал на край этого волнолома, складывал руки по швам, выгибал спину, поднимался на носках, находя при этом весьма приятным судорожное гудение в ногах, отталкивался и прыгал в воду.

Падал в воду.

Все происходило мгновенно, и на размыщления не оставалось времени. Да и стоило ли о чем-либо думать перед тем, как окажешься на глубине, где заросли водорослей цвета перламутрового мха шевелились, веяли, двигались, будто волосы на голове.

Сова всегда боялся стричься, эта процедура вызывала у него панику и слезы.

Его усаживали на доску, пристроенную на подлокотниках массивного кресла, обитого дерматином, оборачивали простыней до пола, оставляя на вершине этого причудливого сооружения, напоминавшего форму для творожной пасхи, лишь вихрастую взлохмаченную голову, включали электрическую лампочку над зеркалом.

— Ну-с, молодой человек, как будем стричь? Бокс? Полубокс? Модельная? — спрашивал парикмахер в белом халате, и Сова почти сразу начинал плакать, потому что он представлял, как из включенной машинки для стрижки волос сыплются в разные стороны искры-стрелы, секут его до крови, прокалывают, вызывая судороги.

Впрочем, все это ему мерещилось, чудилось, потому что никаких искр быть не могло, ведь машинка работала исправно, и все у парикмахера получалось очень даже ладно.

Свое прозвище Сова получил в интернате, куда его перевели после второго класса обычной школы, когда выяснилось, что он страдает задержкой в развитии, а еще умеет поворачивать голову назад и смотреть в лицо тому, кто стоит у него за спиной. Этим свойством, как известно, обладают совы и филины. Сначала его все боялись. Конечно, есть тут от чего испугаться, ведь он мог даже и спать подобным образом, и подкрасться к нему незаметно, чтобы вымазать лицо зубной пастой, например, не было никакой возможности. Тем более что спал он с открытыми глазами. Но потом к этим его странностям привыкли и оставили в покое.

— Сова, а Сова, погукай!

— Сам погукай...

На зимние каникулы Сову отпускали домой.

Никита Контуков

«Кровь моя, за вас изливааемая»

Рассказ

Мать ругала настоящее и хвалила старые времена, и Мансур, на мгновение задержавшись в коридоре, подумал, как сильно она постарела за последний год. Он обнял ее и прижал к себе, крепко, до хруста костей.

Профессор, выполняя распоряжение Хасана, вызвонил его в послеобеденный час и пригласил на встречу. Всю ночь Мансур собирался провести у изголовья больной матери, сидя в кресле возле тумбочки с сердечными каплями. Мать все-таки права, седьмые зубы съедает: раньше ответственность ложилась на плечи всех соучастников, согласно исконной советской убежденности в спасительном влиянии коллектива. Мансур еще помнил дни, когда его люди поочередно пребывали в заточении и клялись, как декабристы, отдать свою жизнь за народное благо. Теперь все решал их дурацкий жребий: вытянул счастливый билет — живи да радуйся, несчастливый — не взыши. Мансуру не повезло, как родившейся осенью мухе. Он бы остался, конечно, с матерью. Да и на улице дождь опять же: холодно и сырьо, как это бывает посреди затянувшейся осени. Но нельзя было нарушать закон. А слово их было законом, — они ведь всю масть держали.

Мансур еще раз взглянул на мать, погладил ее плечи и быстро отвернулся, чтобы она не заметила, как в полумраке коридора блеснули его глаза. Он-то ладно, а вот мать пропадет. Непременно пропадет, лишившись осевой точки, на которой она вся и держится.

Едва узнав о случившемся, Надежда Валерьевна вознегодовала: не ходи — не к добру это! Жалобила, вспоминая Мансура в младенческих летах, когда бережно укладывала его в кроватку. По обыкновению, занималась самобичеванием: это она виновата — плохо, значит, воспитала. Как могла допустить? Почему не предвидела? Не сумела вырвать малого шалопая из лап коварной улицы, вот он и связался со всякой дрянью. Это ведь зверье, нелюди. У них даже генный набор другой. Им человека ухандохать — раз плонуть.

Мансур показал спину и, не оборачиваясь, быстро исчез за дверью. Спускаясь по лестнице, он слышал, как мать громко всхлипывала.

Контуков Никита Александрович — свободный художник. Родился в 1987 году в Подольске. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

На улице было свежо. Все как-то враз преобразилось, стало легче дышать. Страх улетучился, ибо знал Мансур, что час пробил и нельзя умолить ангелов Господних вытянуть его на светлый берег. Времена-то действительно изменились: бритоголовые ребята в кожанках, отломив от вожделенного пирога, как-то неожиданно ступили на стезю добродетели и даже внешне стремились к респектабельности и лоску, провозглашая своим идеалом тихую семейную гавань да палисадник. Никто не желал лишнего шума, тех же, кто до последнего упирался рогом, тихонько убирали, но в целом это были милые и приятные люди, пусть и отгородившиеся от мира и не верящие в надличностные ценности и чудеса всечеловеческого братства. И Мансур не смел роптать: во всем его облике сквозила какая-то виктимность, обреченность, как у скотины, ведомой на убой. Отказаться все равно нельзя — шутить эти парни не любят.

Он пришел на встречу в послеобеденный час, как и договаривались. Пацаны хмуро глянули в его сторону, но в их хмурости проглядывало задумчивое сочувствие: прости, братан, на этот раз не фартануло. Постепенно лица их размягчились, просветлели, и вот они вроде как уже не гады последние, а местами так даже и на людей похожи.

Мансур грустно улыбнулся. Дни неумолимо бежали вперед, тася потери и обретения: он исправно подавал нищим, но от судьбы откупиться не смог.

Это они с ним еще по-божески поступили. Хасана вон с постели подняли — и пинками под зад. Тогда еще очередность соблюдалась, не щадили никого, даже признанных авторитетов: подписку-то все давали, в том числе и Хасан. Он у них главарь был, всех местных под себя подмял. Как-то раз его выставили за порог в одних трусах, а потом провели через весь город, как какого-нибудь залетного лошка. В трусах да тапочках — ни одеться, ни обуться он не успел. Да еще на рынок завернули, где каждый торгаш ему в пояс кланялся и платил солидную мзду. И вот прямо у них на глазах один из дружков отвесил Хасану подзатыльник, второй ткнул его в спину, небрежно так, двумя пальцами, словно боялся испачкаться, словно это не Хасан никакой, а разгуливающий на свободе презираемый всеми петух.

— Пшёл! — крикнул кто-то из случайных зевак. — Бегом давай.

Чумазый оборванец швырнул в него камень и, попав под колено, да так, что у Хасана ноги подломились, радостно вскрикнул. Малолетняя блядва с хрустом грызла яблоки и громко хихикала: «Вот несчастный! Любишь кататься — люби и саночки возить». Но Хасан с гордостью сносил унижения: они плевали ему в лицо, а он терпел, не проронив ни слова. Некоторые отводили глаза, не в силах взирать на жуткое зрелище, когда сильный человек оказывается беспомощным, и Хасан чувствовал еще большую досаду из-за их снисходительного превосходства. Лучше бы плевали в лицо и били палками по голове! Лучше ненависть, чем жалость. К тому же их жалость нарушала договор, и из-за таких вот добрых сердец грядущий год мог выдаться неурожайным, скотина — сгибнуть, торговля — перестать приносить доход. Лучше ненависть. Только ненависть!

Когда же на смену очередям пришел жребий, конвоиры стали лояльнее: они давали человеку возможность как следует выспаться, надеть что-нибудь поприличнее и заушали только для виду.

Радуйся, Мансур! Ты преодолел духовную пустыню и положил свою жизнь на великое дело: если и скидывал крупные козыри, когда еще ничего толком не решалось, вынужденный отбивать случайные шестерки, то в решающий момент не стал уклоняться от возложенной на тебя миссии. Казалось, Мансур только для того и родился, чтобы

Роман Рубанов

Богатыри

Дед

— А у этой зимы...
— А была зима?
У неё, как мой дед говорил всегда:
«Берегов нема.
Вот такая, внучек, беда».

— Я про зиму. Что не было той зимы...
— Так и я о том же. Вот, помню, дед
Говорил: «Вот возьмёт взаймы
У весны. Проживёт сто лет».

— Что? Сто лет зимы?
— Ну не сто... не сто...
Это дед так образно говорил.
Доставал кисет и за стол:
Чай гонял да курил...

И чего не привидится
В том дыму...
Да, любил самосадом он глотку драть...
Каково ему
Было той зимой помирать?

Берегов нема.
И течёт река.
А в реке линьки, караси, плотва...
Деда в лодке. Вёсла в руках.
А над дедом слова... слова...

Рубанов Роман Владимирович — поэт, актер, режиссер. Родился в 1982 году в дер. Стрекалово под Курском. Окончил Курский университет и театральную студию при Курском театре юного зрителя «Ровесник». Автор книг стихов «Соучастник» (М., 2014), «Стрекалово» (М., 2016) и «Соната №3» (М., 2020). Участник Всероссийских Форумов молодых писателей в Липках. Лауреат литературных премий им. Риммы Казаковой «Начало», «Звёздный билет» и др. Живет в Курске.

*Богатыри
Страшная сказка*

Головою Змия пугал богатырь село:
 На крыльцо её втащит, бывало, — соседи в крик,
 Мужики бегут, хоронятся, ребятишки плачут навзрыд,
 Бабы крестятся, падают. — Вот прилетел! Зело
 Надоел супостат, никакого житья от них!
 Проклятущий иезуит!

Доставай теперь из кубышки медь, ведь
 Всё ему аспиду! Что нам с этой меди теперь?
 Раньше вон из неё хоть пуговиц наклепай, хоть колокола отлей.
 То ли дело, если б пришёл медведь
 Или какой другой зверь,
 Скажем — лев.

Богатырь смеётся, — Бывало, сражал и льва...
 И медведя, бывало, — за космы — и поражал!
 А теперь вот ходить в доспехах отвык, тяжелы стали мне, увы...
 А что вы темны, то мне искренне жаль вас,
 В самом деле, от чистого сердца жаль,
 Что боитесь змievой головы.

А народ, — боимся мы этого мертвяка,
 Хоть и знаем, что не живой — всё одно дрожим.
 А особенно как увидим вот так, пред собой вблизи.
 Кто его знает, башка его вон сохранилась как,
 Будто бы до сих пор жив —
 Зыркает, паразит.

Уходи, не пугай, в страхе нас не держи,
 Уходи не на край села, из села, из страны,
 Прах от твоих ног выметем аккуратно и соберём в совок.
 Богатырь, вздохнул, дескать, мол, — Всюду жизнь, —
 Так его и запомнили — со спины...
 А ещё голову змия в руке его.

Алёша Попович в плену

Старший татарин, на башке корка как скорлупа,
 Спрашивает: — Алёша Попович? Стало быть, сын попа?
 Стало быть, знаешь Писание хорошо?
 А как получилось, что ты к нам в плен попал?
 Или знал, куда шёл?

Мы ж басурмане. Мы же не поглядим,
 Что ты с крестом и ладанкой на груди.
 Или ты думаешь, что ты непобедим?
 А мы напряжёмся и победим.

— Знаете что, ребята, кончай базар!
 Или давайте драться, или — расход!
 Что я, по-вашему, что ль не видал татар?!

Что за народ!

Я вас и безоружный могу ложить...
 Оговорился... прошу прощения, класть.
 Кто у вас главный? Ну-касся, покажись!
 Где ваша власть?

— Власть наша — степь. Мы ж кочевники. Говори.
 Степь тебя слушает — вона как напряглась.
 И за что вы нас так не любите, богатыри?
 Вы только и знаете, что класть.

Сколько нас в этой степи лежит — не сосчитать.
 Всё из-за вас. Что ж вы бродите по-одному?
 А то бы явились втроём, перебили бы сразу всю рать,
 Ой, извини, орду.

— Врёте! Степь наша! С чего она ваша — степь?
 Всё здесь наше: и небо, и облака...
 И песни наши, которых вовек не перепеть,
 Тем более вам, кочевникам.

Значит так, вещи собрали — и по домам!
 Глупость сказал, понимаю, откудова дом у кочевника?
 В общем, у вас два выхода: сума или тюрьма...
 Или смерть, а там — небо и облака.

— Окстись, Алёша, это ты ведь у нас в плену!
 С чего ты решил условия выдвигать?
 ...И после этих слов татары улетали в небо по-одному.
 Потому что Алёша было проще сделать, чем отвечать...

Илья

— Спишь, Илья? — Не сплю, гляжу:
 За окном снег творогом,
 А в снегу ползут, как жуть,
 Печенеги-вороги.

Встал бы — ноги не идут —
 Мягкие, как ватные...
 Так Россею и сметут
 Вороги проклятые.

Погляжу на календарь —
 Тридцать лет уж минуло.
 На календаре январь,
 Осень кожу скинула...

— Ты, Илья, вставай, вставай,
Расходитесь, ноженьки.
Ты, Илья, давай-давай,
Одолей безбожников.

Крепче ладанку сожми
Пятерней мозолистой,
С печки, ну-кася, шагни,
Да и солью крови сталь

Просоли, махни мечом...
Из земли рasti...
Вон — закатом кровь течёт —
Захлебнёмся вскорости.

— Руку дай! — Держи, Илья!
Обопрись, и с Боженкой!
Ты, теперича не я:
Старый да безноженькай.

Ты — былинный исполин
Нашей Богородицы.
Ты ж на Русь такой один!
Сто таких не родются!

...Двери скрипнули в избе,
Паром зимним пыхнуло,
И по всей земле, везде
Кровь калиной вспыхнула.

Скрылся в поле за сосной
Кожушок заплатанный.
За широкою спиной
Вся Россия спрятана.

Ирина Горошко

Рассказы

Девочка. Аня

1

Квадратные носы ботинок впечатывались в мокрую мягкую почву. Джинсы пообретались внизу, стеганое пальто горчичного цвета некрасиво темнело на рукавах у запястий.

Накрапывал дождь, в квадратной сумке-шоппере валялся зонт, но доставать его не хотелось. Еще там были тряпичный кошелек, книжка «Удуше» Чака Паланика в помятой оранжевой обложке, замусоленный дневник ученицы восьмого «А» класса, несколько тетрадок, пара учебников и гигиеническая помада. И ключи.

Аня медленно шла вдоль реки, капли дождя падали на воду и становились рекой. Она тоже хотела быть рекой, спокойной, уверенной, безмятежной. Но тишину яростно прервала сумка, что-то в ней визжало и требовало внимания. Ах да, в сумке еще был телефон.

— Да, мам?

— Аня, где ты? Уроки когда закончились?

— Мам, я гуляю.

— С кем?

— Одна! Всегда одна, мама! Когда ты уже прекратишь спрашивать?

Аня отнесла телефон от уха, палец завис над кнопкой с красной трубкой.

— ...Да гуляй ты с кем хочешь, можешь мне не говорить, но хотя бы звони, что опять ушла! Я сижу дома, борщ сварила, жду, а тебя нет и нет.

Глубокий вдох, выдох, — выдохнуть злость и раздражение.

— Мам, я буду через час, хорошо?

— Тебе тепло там? Дождь идет, у тебя зонт хоть есть?

— Мам.

— Таблетки мне купишь по дороге?

— Они же по рецепту, мама.

— Точно. Жду тебя. Пока.

Поднялась по серым парковым ступеням, вдали в тумане виднелась чешуйчатая башенка обсерватории планетария. За ней проглядывал нечеткий круг колеса обозрения с едва различимыми красно-желтыми кабинками.

Ирина Горошко родилась в 1989 году в Минске. Магистр социальных наук. В разные годы жила в Вильнюсе, Риге, Ереване, изучала визуальные, культурные и гендерные исследования в Европейском гуманитарном университете. Живет в Гомеле.

В «Дружбе народов» — первая толстожурナルная публикация автора.

— Привет, Аня.

Она стояла рядом, как всегда, голая, как всегда, неживая.

— Ты снова тут?

— Конечно, тут. Я всегда тут. Идем?

Она взяла руку Ани в свою, сероватую, полупрозрачную. Ане хотелось сжать ее покрепче, но было страшно, что тогда она исчезнет, испарится.

Дошли до планетария, она открыла тяжелую дверь, пропустила Аню вперед.

— Не бойся, ты же знаешь, когда ты со мной, они тебя не видят.

Кассирша равнодушно читала газету, уборщица смотрела в стену. Никто не обратил на них внимания. По полу, выложеному мозаикой из острых кусков битой плитки, они прошли в зал. Темно, несколько человек, раскиданные по разным креслам зрительного зала, смотрели на купол, по которому были разбросаны яркие созвездия.

Аня села, сделала глубокий вдох, закрыла глаза.

— Сегодня такие кадры собрались, — прошептала она, — будь готова.

— Готова к чему? — не успела Аня закончить вопрос, как нечто подхватило ее и унесло. Она растворилась, ее не стало. Через несколько секунд она увидела Большую Медведицу на куполе глазами Юлии, двадцатипятилетней женщины. Юлия утром узнала, что беременна от бывшего, гуляки и наркомана. Она бестолково бродила по городу полдня, пытаясь понять, способна ли на abortion, и вот очутилась в планетарии. Не удивительно, что Аню занесло именно в нее: расстроенные, рассеянные люди — самые легкие объекты для вселения. Было бы здорово, если бы в такие моменты у Ани была свобода воли и она могла решать, как поступить с этими людьми, — заставлять их делать что-то или нет. Но никакой свободы не было. Как только Аня вселялась, она уже знала, что случится, все было предрешено, как будто нечто более сильное просто использовало Аню для каких-то своих замыслов.

Юлия хлопнула дверями планетария и пошла к Свислочи. На ней было тонкое трикотажное платье, она не заметила, что оставила пальто в зале. Девушка долго стояла, смотрела на воду. Потом перелезла через ограду и свалилась в реку. Было темно и безлюдно, никто ничего не заметил. Аня дома ела борщ.

2

— Она не должна так делать.

Ане было десять. Она сидела на лавочке вполоборота, опираясь ладонями на деревянную спинку, а подбородком на ладони, глядя на огромного бронзового Максима Горького, который смотрел на воды Свислочи, заточенные в бетонные стены. Мама сидела рядом, закинув ногу на ногу, держала книгу в одной руке, а другой прикрывала глаза от слепящего солнца.

— Кто ты? — еле размыкая губы, прошептала Аня.

— Я — подружка. А она — нет, — слева стояла девочка примерно возраста Ани и указывала на маму.

Странная девочка. Бледная слишком, прозрачная почти.

— Почему ты голая? — тихо спросила Аня.

Мама дернула плечом, положила руку на колено дочери и провела по голой коже до самого начала ее коротких, еле прикрывающих попу шорт.

— Так надо, — прошептала девочка. — Идем со мной, я тебе что-то покажу.

— Мам, я прогуляюсь, — Аня поднялась, потянулась, вытягивая сцепленные в замок руки вверх.

— Хорошо, но недалеко. Чтобы я тебя видела, — мама не оторвалась от книги.

Дмитрий Сиротин

Красный свет детства

Рассказ

Во все глаза я смотрю на паровозик. Он такой классный, и как будто специально для моей тумбочки. В комнате темно, и красная лампочка внутри паровозика горит так уютно в этой темноте... Теперь спать мне будет совсем не страшно.

— Ну что, исполнила я твою мечту? — улыбается мама.

Я молча киваю, завороженный.

Я так мечтал перестать бояться! Как только ложился спать и выключал свет, изо всех углов на меня смотрели страшные рожи, и под кроватью, казалось мне, тоже сидит рожа. И только и ждет, когда я усну, чтобы схватить!

Конечно, я не видел этих рож, но они ведь были, просто в темноте ничего не видно. А красный, приятный свет паровозика-ночника будет теперь охранять меня всю ночь. На свет рожи вылезти не посмеют! Как вся нечистая сила, они боятся света. Должны же и они чего-нибудь бояться.

Я смотрю на паровозик, никак не могу заставить себя лечь спать, все смотрю и смотрю, хотя мама уже второй раз заходит и требует ложиться: поздно уже.

Я думаю о том, что в паровозике обязательно должен быть машинист. Очень маленький, конечно, но все-таки. Беру игрушечную сову, я ее так люблю, что погрыз ей все уши. Сажаю резиновую сову на паровозик, поближе к позолоченной трубе. Вот — машинист-сова! Пусть везет теперь. А на крышу паровозика сажаю «веселых человечков», тоже любимых. У меня их целый набор: Карандаш, Дюймовочка, Буратино, Петрушка...

Вот. Теперь вообще замечательно. Сова везет, «веселые человечки» едут. А куда они едут? Смотрю на красную лампочку и вижу, как за окном паровозика проносятся снежные поля, вечные снежные поля нашего города, где лето бывает так редко, что даже, можно сказать, и не бывает его.

Поля проносятся, долго, потом появляются низенькие деревца, потом деревца становятся все выше и выше, потом они зеленеют, это значит, паровозик все ближе и ближе к Москве.

Дмитрий Сиротин родился в 1977 году в Воркуте. Окончил филологический факультет Коми государственного педагогического института. Печатался в журналах «Урал», «Октябрь» и детских — «Кукumber», «Чиж и Ёж», «Костёр» и др. Автор нескольких книг стихов и прозы. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

В Москве так здорово! Я был там всего один раз, но все запомнил: и Красную площадь, и зоопарк, и сосиски в кафе зоопарка (вкуснотища, в нашем городе таких никогда не было!), и метро, когда едешь-едешь в вагоне, а вокруг грохот и темнота. А потом выходишь из вагона, и по лестнице-чудеснице поднимаешься вверх, не сделав ни единого шага. Выходишь из метро на площадь какую-нибудь, а там дома такие высоченные! Магазины такие громадные! Все такое интересное, большое, совсем не похожее на мой маленький северный городок на самом краю земли...

Мама сидела в метро, а я стоял, и тут она сказала:

— Встань-ка поближе, перекрой меня!

— Зачем перекрыть? — удивился я.

Мама не ответила, только раздраженно сморщилась, схватила меня за руку и поставила ровно напротив себя.

Потом, пока мы ехали вверх по лестнице-чудеснице, она объяснила, в чем дело:

— На меня солдат один так смотрел, так смотрел! Аж не по себе стало. Вот я тебя так и поставила, чтоб он меня не видел.

На маму всегда обращают внимание мужчины, даже в Москве. Мама очень красивая, к тому же одинокая, а «мужчины это чувствуют», говорит она.

Я знаю почти всех маминых знакомых мужчин, она часто приводит их домой. Ну, не одновременно, конечно. Одного приведет, потом расстанется с ним, и другого приводит...

Был у нас, например, Вадик. Некрасивый, говорила мама. Хоть и хороший, и непьющий даже. И руки золотые. Но — некрасивый, не нравился маме. Поэтому расстались. Потом был у нас Пушкин. Ну, не тот самый, конечно. Просто его тоже звали Александр Сергеевич. Он был высокий и довольно красивый, но у него тоже был сын. И мы с его сыном как-то не подружились. Просто этот сын, видно, не очень хотел, чтоб его папа встречался с моей мамой. Не хотел его ни с кем делить, очень уж Александр Сергеевич хороший пapa был. Разные модели даже делал. Самолетов и танков. Такие здоровские! А паровозов не делал.

А я люблю паровозы. И именно о таком мечтал. Чтоб и паровоз, и лампочка в нем, чтобы любоваться ночью, не бояться больше темноты и придумывать, куда он едет...

Был еще у нас длинный Миша. Очень высокий. Творческий человек. Художник. Он маму рисовал. Очень красиво получалось. Но у длинного Миши все время обнаруживались разные другие женщины. И мы однажды больше не стали это терпеть.

А теперь у мамы компьютерщик Давид. Компьютеры — дело пока совсем новое, необычное, тем более в нашем городке. Давид поэтому — нарасхват. Он большой и бородатый, похожий на медведя. Я его немного боюсь, хотя он добрый. Просто угрюмый. С Давидом мы уже долго, в общем-то, он нам нравится. Но мама Давида против, что он встречается с моей мамой. Потому что моя мама его старше намного. И потому что у нее ребенок, то есть я. А его мама хочет, чтобы Давид женился на девушке своего возраста, и чтобы у них дети родились свои, и чтобы внуки были родные, а не чужие, непонятно от кого.

Давид хороший, он даже меня из садика иногда забирает. Когда мама не может. Мы с ним идем по темной снежной улице и молчим. Он иногда только спросит:

— Не холодно?

Поэзия

Ольга Михайлова

Для Бога времени нет!

* * *

У лягушек голос песенный не звонок,
У лягушек колокольчик оловянный,
А за ними чьи-то стоны выше тоном —
Это плачет человечек деревянный:

«Кабы я из камня был или железа,
Спал давно на дне под песню лягушачью,
А такой я и на берег-крут не влезу
И для неба невиден, и невзрачен.

Для чего меня Ты сделал из полена?
Дал мне мысли, словно стружки завитые?
Из дубового не вырваться мне плена,
Не войти в Твои долины золотые.

Мне такому место самое в болоте,
Но не хочет принимать меня трясина.
От меня вы, Небеса, всего-то ждёте,
Чтобы стал я, наконец, по плоти сыном.

Но приходят лишь коротенькие мысли:
Жил по лжи я и остался с длинным носом.
Деревянными доспехами я стиснут,
Не могу найти ответы на вопросы.

Рядом нежные нимфеи расцветают,
Я для них совсем чужой и очень странный,
И на все мои вопросы отвечает
Лягушачий колокольчик оловянный».

Михайлова Ольга Игоревна — драматург, сценарист, поэт. Родилась и живет в Москве. Вместе с Еленой Греминой и Михаилом Уваровым основала Театр.doc. Многие пьесы и сценарии переведены на английский и французский языки. Автор книги стихов «Близкий праздник» (М., 2017). В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

Vетер

Пусть ветер несётся, весенний и нежный,
Он каждый листочек погладит небрежно,
Бумажку цветную подняв с тротуара,
В воздушном балете составит ей пару,
Уронит, забудет и дальше помчится,
Чтоб в шарик воздушный вцепиться-влюбиться,
В открытом окне раздувать занавески,
И вывернуть зонтик нахально и резко,
И шляпу сорвать, и на тучу сердиться,
Что нудным дождём помешала резвиться,
Прогонит её и, качаясь на ветке,
За шиворот капли стряхнёт малолетке,
И с визгом испуга свой хохот смешает,
И юбочку ей до трусов задирает,
Но бросит, пакет целлофановый встретив,
И дальше, другие пакеты приметив,
Помчится по улице, всех забывая:
Ах, шарфик, косынка, одна иль другая,
Чтоб резвую тучку догнать на закате...
И только пусть кудри мои не лохматит.

* * *

Смотреть, как ветром сносит птицу
В пустынном небе высоко.
Искать, в какой цветок влюбиться,
Пить ледяное молоко.
Всё перечитывать в тенёчке
Одни и те же десять книг
И знать, когда дойдёшь до точки,
Тебя снесёт в единый миг.

Как птаха

Как быстро год за годом
Уходит жизнь куда-то.
Туда текут все воды,
Там спрятаны все клады.

(Для Бога времени нет!)

Там заводь золотая,
Над ней парят стрекозы.
И там, в преддверье рая,
Всю ночь сияют звёзды.

(Для Бога времени нет!)

Там ждём Его возврата,
Надеемся, боимся.
Нам и всего-то надо,
Чтоб нежно пели птицы.

(Для Бога времени нет!)

Они летят без страха
Навстречу Провидению.
Стань лёгким, будто птаха —
У Бога день Рождения!

Евгений Бунимович

Один день из жизни детского омбудсмена

Мобильник, похоже, сдох.

Хорошо, зарядку захватил.

Звонок.

Особый.

Жена.

— Что с тобой? Что случилось?

— А что со мной случилось?

— Как что? Интерфакс передал: «Бунимович направляется в СИЗО "Измайлово"», и в «Новой газете», в новостях... Звоню, звоню, ты не отвечаешь. Что с тобой? Почему тебя везут в СИЗО?

— Во-первых, не в СИЗО, а в ОВД. И что значит: меня везут? Я сам еду.

— Как сам? Сдаваться?

— Да нет, ты чего. Русские не сдаются. Даже если они евреи.

Вроде панику немного сбил.

Наташу успокаивают не аргументы и факты, а интонация.

— А не отвечаешь почему?

— Отвечаю. Просто все время звонят, не успеваю. И еще эсэмэски, и телега, и в личку. И все на телефоне. Вот только что сообщили: задержанных несовершеннолетних везут в ОВД «Измайлово». Туда и еду — разбираться, что там и как. Я, между прочим, омбудсмен детский. Работа у меня такая.

— Еще скажи «миссия», — кажется, наконец успокоилась, — как эта, коллега твоя, которая вчера по телеку: «моя миссия в том...»

— Нет, не скажу. Миссия — это у нее, миссия — это высоко, в небесах. А у меня работа.

— Вот и мотаешься по околоткам...

Бунимович Евгений Абрамович родился в 1954 году в Москве. Поэт, прозаик, эссеист. Окончил механико-математический факультет МГУ, более тридцати лет преподавал в школе, впоследствии — депутат Московской Думы четырехсозывов. В 2009—2019 годах — Уполномоченный по правам ребенка в Москве. Автор полутора десятков книг стихов и прозы, а также школьных учебников по математике. Лауреат многих литературных премий. Живет в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 5.

* * *

В ОВД «Измайлово» встречают как родного.

— Только вы ошиблись, у нас нет задержанных несовершеннолетних.
Вот журнал дежурного... Можете сами проверить.

Понятно. Оперативная работа. Не зря же они оперативники.

Интерфакс сообщил, что сюда еду, — ребят тут же перенаправили в другое ОВД.
Теперь ищи-свищи.

Хотя чего опасаются? Тоже пугало нашли. Много ли могу?

Булькнул телефон. Новая эсэмэска от журналистки, ее тоже замели, они в одном автозаке.

Сначала из «Измайлово» их повезли в «Новогиреево». Но там переполнение.
Теперь везут в «Бутырский».

* * *

— Все-таки политические разборки — это удел взрослых. В тех же девяностых путчи были, баррикады в центре Москвы, поперек Садового, на Тверской, а вот подростков особо не припомню. Обошлись как-то без гаврошей на баррикадах.

— А теперь даже с малышами приходят...

— С малышами, вообще с детьми — зачем? Не только на несанкционированных, но даже на самых санкционированных митингах. Народу полно, перекрытия, давка, ребенок может испугаться. А если приспичит — куда деться? Где там выйти? Где найти туалет? Я всегда призываю родителей уж точно не ходить на такие акции с маленькими детьми. Но это их выбор.

— А те, кто постарше? Кому уже 16? 17? Почти 18?

— Ну, конечно, тоже не надо, но тут сложнее... Напомню, что по Конвенции о правах ребенка, которую подписали практически все страны, и Россия из первых, государство должно уважать право ребенка на свободу мысли. Дети имеют право свободно выражать свое мнение, в том числе собираться в группы и т.д. В восемнадцать лет они могут голосовать, выбирать президента, призываются в армию, отдают свой долг государству, а то и жизнь за Отечество... Могут семьи создавать, детей заводить и воспитывать, вообще имеют все взрослые гражданские права. И представить себе, что за год, за месяц, за неделю до этого они еще ни о чем не задумываются, ни в чем не ориентируются, в куклы играют... Так не бывает, конечно.

— Вы сейчас общаетесь с теми подростками, которых задержали. Что они говорят?

— Знаете, ОВД — не самое удобное место для доверительной беседы. Что говорят? Кто-то пришел по приколу, кто-то — за компанию, кто-то просто шел мимо, и вообще запретный плод для подростков сладок. Ну а кто-то четко излагает свои убеждения.

— А как быть с нарушениями? На дорогу выходят, на фонари залезают...

— Здесь нет вопросов. Что нельзя — то нельзя. Другое дело, что учителя, родители должны быть готовы к открытому и уважительному диалогу с ними, даже когда приходится отвечать на самые неполиткорректные вопросы тинейджеров.

А когда мы, взрослые, не отвечаем на эти вопросы, когда отмахиваемся от них, мы теряем доверие. У подростков обострено чувство справедливости, они, быть может, не различают оттенков, часто видят только черное и белое, но...

Да, нельзя залезать на уличный фонарь, в том числе и во время митинга. Но вопрос к нам, взрослым: почему этот парень на Пушкинской, чтобы получить ответы на свои вопросы, лезет на фонарь?

Культурный слой

Анатолий Цирульников

Из тайных архивов русской школы

История образования в портретах и документах

Синий-синий презелёный красный шар *Школьные реформы эпохи военного коммунизма*

1920год, канун падения Перекопа. На Крымском полуострове доживает последние дни правительство юга России... барона Врангеля. Правительство как правительство, со своей канцелярией, Советом министров. Есть тут и Министерство народного просвещения. Чем оно занято накануне конца? Проводит реформу школы...

Не правда ли, странно? Но, видно, до тех пор, пока живут люди, пока сохраняется какой-то человеческий порядок вещей, остается и все, что его поддерживает, питает, лечит. Люди думают о будущем. Даже в Гражданскую войну, оказывается, думали...

Эта глава — о малоизвестной нам школе времен Гражданской войны. О школе в буквальном смысле — как учебном заведении, где чему-то учатся. Ведь интересно, чему дети учились у красных, у белых, у зеленых? Хотелось эти разные школы как-то связать между собой, — но они не связываются. Никак. Видимо, плохая связь. Все разбилось — какая уж тут связь? Обращение к этой теме именно сегодня тоже неслучайно. Хотя, может быть, и наивно, — если рассчитывать, что учителя могут уберечь, спасти от того, от чего не спасают правители и народы. Но все проходят какую-то школу, и, если посмотреть на нее более внимательно, можно узнать о себе нечто новое.

История, к сожалению, не знает черновиков. Она пишет сразу на черную доску, в белую тетрадь. Разыгрывает свой спектакль в актовом зале школы, в котором мы сидим, еще маленькие...

«Как мы заняли Министерство народного образования»

После Зимнего дворца пришла очередь министерств у Чернышёва моста. Как вспоминал Анатолий Васильевич Луначарский, Ленин сказал: надо, чтобы каждый ехал в порученное ему ведомство и живым оттуда не вышел, пока не завладеет

им... Это была прямая директива, но новая коллегия брать штурмом Министерство просвещения не решалась. Послали разведчика, эсера Бакрылова. Вернувшись, тот сообщил, что весь низший персонал безусловно за новую власть, но чиновники служить отказываются и заявляют, что как только Луначарский переступит порог ведомства, они уйдут оттуда, отряхнув прах с ног своих, и посмотрят, как большевикам удастся пустить в ход сложную машину просвещения российских народов. «Мне, — с улыбкой вспоминал первый нарком, — перспектива оставаться с курьерами, истопниками и дворниками не улыбалась».

Однако делать нечего — пошли на штурм. Подъехали к зданию министерства на нескольких автомобилях, гуськом. Оказалось, что никакого сопротивления нет. На лестнице у подъезда стоят человек пятьдесят низшего персонала и восторженно кричат «ура». Прошли в здание. Оно совершенно пусто. Что делать? «Собрались в одной из комнат, — вспоминала Крупская, — и Анатолий Васильевич выступил с пламенной речью перед низшим персоналом — о задачах народного образования».

В ответ какой-то швейцар «в довольно прочувствованных и отчетливых выражениях заявил, что и в персонале Министерства народного просвещения шла классовая борьба и что они... служители и прислуга, чувствуют себя частью пролетариата и с восторгом готовы энергично служить новому начальству...».

Все новое. Новое министерство — комиссариат. Новые люди. А что это за люди? Их никто не знал. Кто такой Луначарский? Да, говорят, какой-то недоучившийся гимназист. Кто такая мадам Ленина, свалившаяся, как штутили, к нам на голову из Цюриха? Покровский? Познер? Никому и ничего не говорящие имена. Может, хотя бы видные большевики? Тоже нет. Ни один крупный, первого ранга большевик никогда не стремился в Наркомпрос. Сюда не ссылали даже провинившихся. Работали тут в основном чьи-то жены. Наталья Ивановна Троцкая заведовала отделом музеев; говорят, была женщина весьма разумная, принимала на работу старых, опытных людей (позже, правда, ее фамилия стала причиной разгрома «троцкистского краеведения»). Тут, в Наркомпросе, служили Злата Лилина (Зиновьева), Варвара Бонч-Бруевич, две сестры Менжинского, трое Луначарских. Родственное такое ведомство.

И общались по-родственному. На заседаниях часто слышались шутки, смех. Быстро освоились в старой бюрократической машине и через месяц-другой уже уверенно проводили коллегию, решали государственные вопросы. Но не так, как раньше, — без занудства, без волокity.

Представьте себе большой белый кабинет с расписным потолком (привелось туда заглянуть — теперь там другое ведомство). За огромным письменным столом (экспроприированным у прежнего министра) — нарком. В глубоких красных бархатных креслах — члены коллегии. Разбирается какое-нибудь заявление. Вот хоть это — Всероссийского священного собора. А что он просит? Не отбирать, оставить ему духовные академии, семинарии.

Тов. ПОКРОВСКИЙ спрашивает: «Огласить?»

Тов. ЛУНАЧАРСКИЙ: «А там есть что-нибудь существенное?» (Смех.)

Тов. ПОКРОВСКИЙ: «Существенного я не нахожу ни в одном документе».

Тов. ЛУНАЧАРСКИЙ: «Тогда не стоит».

И — вопрос решен. Духовной школы больше не существует. К чему нам духовная, земская, народная, дворянская, железнодорожная (сколько их в России было?). Вместо них — единая советская трудовая! Удобно и демократично. Разделение

Школьная программа

ДОСТОЕВСКИЙ 200+

Возможна ли «Кровь по совести»?..

Белгородские школьники читают Достоевского

Эти сочинения были написаны в конце 2020/21 учебного года. Для многих наших замечательных постоянных авторов, вместе с которыми мы мечтали, выбирали любимые книжки, подглядывали, что читает мама, смотрели телевизор, ловили приметы взросления, искали среди одноклассниц тургеневских девушек, это был последний школьный год. Мы поздравляем их со вступлением во взрослую жизнь и надеемся через несколько лет узнать, сбываются ли мечты и каково это — быть взрослым.

Ну а сейчас — размышления уже выпускников и еще школьников, ставших за лето на класс старше, о том, зачем сегодня русским — и не только — мальчикам и девочкам читать Достоевского.

Достоевский рядом?

Опрос, проведенный ЛитРес о самых читаемых сегодня писателях-классиках, показал, что Достоевский является самым популярным писателем современных поколений — в том числе и молодых.

Что в общем-то и неудивительно.

Дело даже не в рекламе или моде на слоганы в СМИ и соцсетях: «Убил старушку топором и мучался» или «Достал ты меня, Достоевский». Было бы заблуждением считать, что Достоевский вывел некий алгоритм социального протеста, которому в дальнейшем следовали наиболее гиперактивные представители гиперактивного времени: «Тварь я дрожащая или право имею», «Перед кем просить прощения, Соня? Они миллионами убивают, и им ничего за это...» По-видимому, писатель ощутил наэлектризованность общественной атмосферы конца XIX столетия. Это возникающее в определенные эпохи раздражение умов и состояний — чем оно вызвано? Все представляется в болезненно-подростковом, самолюбиво-неуступчивом зрении, в уязвленной гордости, в унизительной зависимости от финансов старших, в обостренном чувстве несправедливости... Неслучайно один из романов Достоевского так и называется — «Подросток».

Не все читают Достоевского, однако не в каждом ли современном инциденте мы угадываем очерченные им конфликты сознаний, стремлений, самолюбий, неукротимой страсти к праву ухватить власть «над всем муравейником», обрести полную свободу, то есть вседозволенность, царство своих «хочу» без всяких «должен», как мы чаще всего и рисуем себе свободу? И в преступлениях нынешних все та же невзрослая обидчивая натура и стремление любой пустяк превратить в необходимость утвердиться,

Сочинения публикуются с сокращениями. Написание имен и названий, орфография, пунктуация и стилевые особенности авторов сохраняются.

что я не тварь, не тварь, а хочу — и будет власть над муравейником? Все как помещанные, — и мой ровесник Соколов, краса и гордость петербургского истфака, танцевавший на реконструкторских балах в костюме Наполеона и убивший подругу-аспирантку и расчленивший ее труп; и чиновники, расстреливающие краснокнижных туров с вертолета; и постмодерн-охотник Брейвик, неумолимо настигший своих жертв в молодежном лагере в Норвегии, а вслед за ним — сын егеря из белгородского охотхозяйства Помазун, насмотревшийся то ли охотничьих игр новоиспеченных вельмож, то ли голливудских боевиков по ночам? А еще — те, кто почувствовал себя персонажем суперигр в керченском техникуме в 2018 году, в Казани прошлой весной и совсем недавно — в Пермском университете...

Им не важен Достоевский, — а вот писателю было мучительно важно, чтобы мы пережили в его романах процесс становления духовных сил человека, все это безумие и зло, рожденное идеей индивидуализма и личной свободы, — пока ничего не случилось... Пока носитель «прав человека» со школьной скамьи не предъявил адскую справку — разрешение крови по совести.

Нет, в большинстве своем поколения «зет» и «альфа» — против насилия. Но и на решительный протест не выйдут. Пока не доведут до кипения.

А можно ли победить насилие ненасилием? Вечный вопрос, ведущий от Достоевского к Толстому. Меня как старшую, отвечающую за младших, новое поколение очень беспокоит неспособностью к защите и самозащите.

Психологи бьют тревогу: у молодых totally закрыты чувства. Психотерапевтам приходится вытаскивать из тридцатилетних эмоций, провоцировать их. К счастью, младшим еще не до психотерапевтов. Но и для них ничто не является событием. Болезнь, даже смерть — не событие, когда вокруг ковид. Реальный мир обживается лишь небольшой частью души. Эмоциональная реакция на происходящее в виртуальной реальности — вторична.

Психологи видят в этом проявления инфантильности и озабочены углубляющимся разрывом взаимопонимания отцов и детей. Эксперты педагогики добавляют: воспитывать детей в обществе без идеологии — значит растить поколение на зыбкой почве.

Одно утешает: русские мальчики, способные, по Достоевскому, часами решать глобальные вопросы человечества, не считаясь со временем (которое, однако же, по классике общественных отношений, деньги и бизнес), мальчики, сидящие над картой звездного неба и возвращающие ее всю исправленную, — не перевелись. Хотя иногда их и не разглядеть в общей массе.

Когда на дворе маячит лето и выпускной ЕГЭ, они пишут сочинения по Достоевскому — вне программы и оценок — и размышляют: зачем русским мальчикам все-таки нужно читать. И Достоевского — обязательно.

Они смотрят в телескоп вместе с учителем астрономии Надеждой Павловной Ульяновой из белгородского лицея № 9 и чуть ли не ежегодно побеждают на международных астрономических олимпиадах. С учителем Натальей Ивановной Немыкиной из гимназии № 3 они едут вскладчину за тридевять регионов в Тарусу — к Цветаевой — с докладами на научных конференциях. С учителем мировой художественной культуры (предмет, ныне упраздненный) Людмилой Ивановной Явтушенко создают Косенковское братство (в память художника-графика Станислава Косенкова, известного, в частности, своими иллюстрациями к «Преступлению и наказанию»). И вырастают не только победителями престижного конкурса «Большая перемена», но — прежде всего — думающими, ответственными, творческими личностями.

Ответственными — это значит отвечающими за все на этой планете. И за всех, кого приручил — или пока не приручил.

Книжный развал

Николай Александров

«Жизни спутанные нити»

Жанр документального романа как будто балансирует на грани научного исследования и художественной рефлексии. Степень художественности, наверное, и заставляет использовать именно слово «роман», а не, скажем «эссе», как принято во Франции, например. Автор, с одной стороны, отказывается от сухой филологической наррации, но с другой — все-таки вынужден сдерживать свое воображение, имея дела с реальными фактами и живыми, невыдуманными персонажами, с героями, чья судьба уже определена жизнью и историей. Остается лишь ярко выраженное видение, взгляд, в котором домыслы опираются на действительно бывшее, особая, как сегодня принято говорить, оптика при погружении в историю вообще и истории героев, которая и становится инструментом интерпретации или, если угодно, ярко выраженным авторским волонтеризмом, то есть тем островом свободы, на котором возможна стилистическая свобода документального романа.

Сергей Беляков берется за судьбы героев, которые действительно стоят или заслуживают романа. Или, по крайней мере, подталкивают к романному воплощению, даже романному обобщению, если угодно. Поскольку речь идет не просто о типологии рока, общем узоре нитей, сплетенных Паркой, но о странных закономерностях времени, столкновении разных эпох и разных культур, кровавых конфликтах прошлого столетия, которые и сегодня отдаются внятным эхом.

Сергей Беляков. Парижские мальчики в сталинской Москве: Документальный роман. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021.

Эти герои — Георгий Эфрон и Дмитрий Сеземан.

У обоих родители (у Эфрона — отец, у Сеземана — отчим, Николай Клепинин) были белыми офицерами. Оба вырастали в парижской эмиграции и впитывали в себя воздух французской культуры, удивительную атмосферу Парижа, который затем будут вспоминать всю жизнь и в который будут стремиться. И Николай Клепинин, и Сергей Эфрон были завербованы советскими спецслужбами и выполняли задания советской разведки. И Георгий Эфрон, и Дмитрий Сеземан были страстно увлечены новой советской реальностью и стремились в коммунистическую Россию. И вернулись вместе с семьями. И жили вместе. И тот и другой обманулись в своих ожиданиях, пережили репрессии, смерть родных и близких, в войну ушли на фронт. Только Эфрон погиб, а Сеземан выжил. Выжил и вернулся в Париж. «У меня нет сомнений, что Мур повторил бы судьбу этих парижских мальчиков. В Москве сделал бы карьеру. Добился бы и богатства, и успеха... Но и он покинул бы Москву и умер, конечно, в Париже. В январе 1943-го, в том самом исповедальном письме к Муле Гуревичу, Мур предсказал: «И последняя моя мысль будет о Франции, о Париже, которого не могу, как ни стараюсь, забыть». А что мысль эта промелькнула в голове не где-нибудь у Бельфорского льва, а на проселочной дороге северной Белоруссии, так в том не его вина», — пишет Сергей Беляков в finale романа.

Понятно, что рассказ об этих судьбах требует многоного. Слишком много событий, фактов, людей, нюансов — бытовых, идеологических, исторических, уже исследованных,

интерпретированных. Революция, гражданская война, эмиграция и раскол внутри эмиграции, шпионская деятельность и измена своим убеждениям (если не предательство), сталинский террор, голод, война, болезни, столкновение западной культуры и советского образования — да мало ли что еще. И на протяжении всего повествования Сергей Беляков пытается сохранить верность фактам, воссоздать обстановку (обстановки), в которой оказываются герои, обращает внимание на мелочи (будь то одежда, еда или специфика советских газет и советского обучения), а главное, не упускает из виду, пожалуй, самое важное: в чем же специфика, в чем же феномен восприятия советского мира «парижскими мальчиками», в чем основа, в чем корень их чужеродности (и не только языковой, хотя он один из главных — Эфрон и Сеземан были билингвами), но одновременно и какой-то глубокой причастности к этому миру.

«Две культуры — это ведь не две суммы знаний, это два образа мысли, два ощущения мира. Русская, как только я попал в Россию, поразила меня и пленила. Тем не менее, ни метафизический бунт Достоевского, ни всеприятие Толстого прочно привиться так и не смогли. Всё, что я до этого во Франции читал, учил, всё, что мне внушали, противилось неразумному и восторженному, как полагалось, приятию действительности. Потому что и Вольтер, и Стендаль, и Флобер, и Ларошфуко, и Андре Жид, и Пруст, мой любимый Пруст, научили меня несколько скептическому взгляду на жизнь...» — цитирует Беляков интервью Дмитрия Сеземана радиостанции «Свобода».

Но есть еще один очень важный аспект, который, разумеется, будет учитываться при чтении романа и даже приниматься во внимание в первую очередь. Это имя Марины Цветаевой. Ее судьба, ее трагическая смерть, ее творчество — это тот свет, который невозможно заслонить, который освещает все. В ткань ее жизни вплетены нити судеб ее мужа Сергея Эфрон, ее сына Георгия (Мура), дочери Ариадны (Али) и многих, многих других. Это ее текст, который выходит далеко за хронологические рамки описываемых в романе событий.

Может быть, символично, что роман Белякова выходит одновременно с томом писем

Ариадны Эфрон к Анне Саакянц («Вторая жизнь Марины Цветаевой. Письма 1961—1975»). По существу, этот внимательно откомментированный том — хроника возвращения творчества Марины Цветаевой российскому читателю и свидетельство подвига, данного себе Ариадной Эфрон зарока — дать вторую жизнь тому, что, казалось, эпоха, это страшное пространство-время XX века обрекло на забвение.

Эти две книги находятся как будто во взаимном отражении и уж точно перекликаются друг с другом.

Книга писем Ариадны Эфрон раскрывает историю издания произведений Цветаевой. Роман Белякова — в том числе раскрывает, скажем так, некий психологический, экзистенциальный контекст, в котором действуют участники этого процесса.

В мае 1956 года Илья Эренбург пишет вступительную статью «Поэзия Марины Цветаевой» для сборника ее лирики, который должен был выйти в Гослитиздате и который «пробила» и составила Ариадна Эфрон. Эренбург наверняка понимал, какому риску он себя подвергает, под какой удар подставляется. И действительно, его статья, опубликованная в альманахе «Литературная Москва» в качестве предисловия к публикации семи цветаевских стихотворений, вызвала грандиозный скандал и стала объектом сокрушительной критики. «Эренбурга обвиняли в том, что в статье отмечается, будто трагедия Цветаевой “никак не связана с ее глубоким отчуждением от революционных путей родной страны”, а также в том, что автор статьи “уклоняется от исторического конкретного анализа и прямых идеинных оценок” и пропагандирует произведения “декаденствующей поэтессы”, от стихов которой “веет чужеродным, давно ушедшим в прошлое” и которые “не нашли отклика в сердце народа” и т.д. и т.п.», — пишет Татьяна Горькова в предисловии к книге писем Ариадны Эфрон. В этом контексте поступок Эренбурга выглядит бескорыстно-мужественным. Но дело обстоит несколько сложнее. Есть и другие причины морально-нравственного порядка. Эренбурга мучили угрызения совести. Сергей Беляков напоминает в своем романе, ссылаясь на воспоминания современников и свидетельства Дмитрия

Сеземана в частности, что именно Эренбург уговорил Цветаеву вернуться в СССР, пообещав ей издание ее книг, понимание и востребованность, которых не было во Франции, говоря, что «в России ее ждут, что там не только ее родина, но и ее читатели, что ... никто не потребует никаких отречений». В действительности же все обстояло совершенно иначе: «Марина, — приводит Беляков разговор, состоявшийся уже в Москве между Эренбургом и Цветаевой, в передаче Сеземана со ссылкой на Георгия Эфронова, — стала Эренбурга горько упрекать: “Вы мне объясняли, что мое место, моя родина, мои читатели здесь; а вот теперь мой муж и моя дочь в тюрьме, я с сыном без средств, на улице, и никто не то что печатать, а и разговаривать со мной не желает”. <...> Эренбург ответил Цветаевой так: “Марина, Марина, есть высшие государственные интересы, которые от нас с вами скрыты и в сравнении с которыми личная судьба каждого из нас не стоит ничего...” Он бы еще долго продолжал свою проповедь, но Марина прервала его: “Вы негодяй”, — сказала она и ушла, хлопнув дверью».

Вот еще две цитаты из романа Белякова.

Первая касается ареста Ариадны Эфрон: «...ее пытали бессонницей, избивали резиновыми дубинками (их называли “дамскими вопросниками”), запирали раздетой в холодном боксе и даже имитировали расстрел. Силы человеческие не безграничны. Ариадна Сергеевна призналась, что “с декабря месяца 1936 г.” стала “агентом французской разведки, от которой имела задание вести в СССР шпионскую работу...” Но Аля следователей не очень интересовала. Важнее было получить показания на ее отца. И ее заставили подписать и это чудовищное признание: “Не желая скрывать чего-либо от следствия, должна сообщить о том, что мой отец Эфрон Сергей

Яковлевич, так же как и я, является агентом французской разведки...” И она странно смотрится рядом с другой цитатой уже в finale книги: «Ариадна Эфрон отсидит все восемь лет и выйдет на свободу только в 1948 году... Ариадна Эфрон вернется из пожизненной ссылки в 1955 году, предварительно написав известное нам письмо в военную прокуратуру. Оно завершалось такими словами: “...весь остаток своей жизни буду стараться оправдать оказанное мне доверие. Спасибо советскому правосудию!”.

Это последние слова об Ариадне Эфрон в романе. И, как мне кажется, не слишком справедливые интонационно. Хотя бы если принять во внимание, что смогла сделать Ариадна Эфрон после освобождения. И они иначе воспринимаются в контексте книги ее писем. «Увы, после маминой смерти и более близкой по времени и пространству (когда мама умерла, я ведь сама была «по ту сторону») — смерти Бориса Леонидовича я твердо убедилась в том, что и сама непременно умру. Раньше, даже на самом краешке жизни, я не задумывалась о том, что и мои дни сочтены. А теперь знаю, что прожито уже много-много, осталось мало-мало, и надо торопиться. Торопиться же что-то не хочется. Сейчас цветут вишни, сливы, черемуха. Я уже несколько раз навещала домик маминого детства — и очень хорошо, т.к. «отдыхающие» еще не наехали (домик на территории Дома отдыха) и было пустынно и тихо. Вокруг дома растут четыре высоченных ели, когда-то посаженные дедом в честь четверых его детей», — писала Ариадна в одном из писем. Для нее это было уже другое время, другой модус существования.

Если угодно — вторая жизнь, которой не было дано ее брату Муру.

Ольга Гертман

Иномосковье, которое всегда с нами

Вообще удивительно: почему такой книги у нас, москвичей, до сих пор не было? Вот у жителей Львова и Киева, например, — спору нет, городов таинственных и мистических — давно уже есть: соответственно, «Случайному гостю» и «Дни яблока» Алексея Гедеонова — о мальчике-маге Лесике и обремени его дара. О Гарри Поттере с его магической Англией и не говорю: сама оглушительная популярность его, сделавшая истории о Гарри неотъемлемой частью современного мифологического сознания, — вернейшее свидетельство того, что волшебность детства нуждается во внимательном осмыслении.

И этого осмысления никогда не бывает ни много, ни вообще достаточно — хотя бы уже потому, что в родстве детства и магии (с ее ужасом и очарованием) сомневаться вообще невозможно. Ну, то, что все дети — волшебники, совершенно очевидно, просто не все они в этом признаются (хотя и правильно делают: тайна же! а взрослые все равно не поймут...). Вырастая, они обычно теряют память об этом. Некоторые, впрочем, прекрасно помнят, и автор книги — явно из таких.

Как заметила одна юная героиня книги, «самым странным мне кажется то, что дети превращаются во взрослых. И перестают быть детьми». Совершенно ведь точно. И как при этом утверждать, что волшебства не бывает?

Но ведь и еще более того: чуть менее ясно и на общекультурном уровне не очень-то продумано, что у разных городов и пространств — собственное волшебство. Оно проживается в них по-разному, потому что возникает, когда магия человека вступает в непредсказуемое

взаимодействие с магией места. Есть истории, которые могут быть прожиты только в Москве... и что, много ли мы таких читали? Даже, честно сказать, обидно за наш город — он ведь изобилует местами, которые буквально напрашиваются на то, чтобы стать героями волшебных историй.

Опять же, почему-то не все это чувствуют. Но некоторые — да!

А вот между прочим: почему это все время о мальчиках да о мальчиках? В том же «Гарри Поттере» Гермиона хотя как будто и входит в число ведущих персонажей, но ведь, согласитесь, все-таки не она там главная... (Девочки же на самом деле куда волшебнее, но тссс!.. об этом никому.)

Ну, наконец-то все стало на свои места. Три московских девочки-подростка, наши с вами современницы, под влиянием четвертой задумали стать колдуньями, и — небольшой спойлер: у них очень многое получилось! И мы даже получим некоторую возможность узнать, как именно...

Однако книга Надежды Беленькой, в которой рассказывается о том, как это все происходило и какие трудности героям пришлось преодолевать на пути к цели, на самом деле — как и положено волшебным предметам — не совсем то, чем она предстает поверхностному взгляду. Или даже совсем не то.

Прежде всего, она старательно и очень убедительно мимикирует под роман взросления и воспитания. Да, это у нее получается. Она предстает романом психологическим, то есть точно передающим чувства и воображение подростков, с их замиранием на пороге взрослой жизни, на пороге своего и чужого вообще — с особенностями их чувствования времени, пространства, других людей, самих себя. (И ус-

Надежда Беленькая. Девочки-колдуньи. — М.: Самокат, 2020. — 304 с.

певает заодно показать — и напомнить нам, выросшим, — огромность детского времени: «...все это было давным-давно. Может, год назад...»; и способность любого, даже самого пустякового события в детстве — вроде, например, случайного забегания в чужой двор — стать переломным и распахнуть огромные, пугающие внутренние перспективы.) Оборачивается она и романом, помогающим своим растущим читателям сориентироваться в нравах, обычаях, иерархиях, границах, стереотипах и страхах общества, в котором им случилось родиться (девочки-героини принадлежат к разным социальным стратам, и это, конечно, влияет на их самовосприятие и взаимодействие). Получается и это.

Но ведь вы же согласитесь, что историю взросления — проходящего вполне классические этапы и проживающего всякий раз совершенно архетипические ситуации, среди которых — дружба с ее правилами, влюбленность с ее волнениями, взрослые и дети в их взаимонепонятности, другие люди вообще с их влекуще-непонятными жизнями и непересекаемыми, сколько ни бейся, границами, свое и чужое, одиночество и самоутверждение, ревность и зависть, обида и прощение... — можно рассказать на любом материале. И ценности — ответственности, усилий, внимания и уважения к человеку... — можно опять-таки утвердить на каком угодно материале, на то они и вечные.

Да, если уж очень захотеть, можно вынести за скобки колдовство с волшебством (...кстати: читатель, помимо многоного другого, получает тут возможность узнать, почему это не одно и то же — так что, может быть, все-таки не будем их выносить?). Но при такой операции нечто существенное окажется непоправимо утраченным. Ведь здесь же явно происходит что-то еще — что никак не умещается в рамках этих традиционных сценариев.

Плохая литература читает мораль, хорошая — ставит эксперименты. Перед нами — как раз второй случай.

Конечно, книга, кроме всего прочего, изо всех сил притворяется историей о колдовстве (которое не тождественно волшебству). Тут рассказывается много всякого разного: ну, скажем, что будет, если внимательно-внимательно, не отвлекаясь, посмотреть

на сущеную лапку ящерицы; как с помощью этой лапки наколдовать себе нужные предметы — например, часы, дизайнерское мыло или сардельки (а заодно и о том, что вообще-то с этим надо быть как минимум осторожнее...). Главное же — роман психологичен еще и в этой области, здесь показывается, что и как чувствует человек, особенно — человек растущий, еще не знающий собственных границ, когда понимает (и совершенно неважно, заблуждается он при этом или нет), что имеет дело с чем-то радикально преображающим жизнь, что в его власти собственными руками эту жизнь преобразить.

Плохая литература (только) развлекает. Хорошая — проводит исследования. Вы уже поняли, какой случай перед нами.

А на самом-то деле это — роман между человеком и городом. В том смысле, в каком это слово привычно употреблять, говоря о романе между людьми: влечение, заинтригованность, домысливание, нашупывание возможностей, выращивание связей...

Это — роман удивления Москве, которой мы не знаем. Заодно немного и путеводитель поней — по такой, которая вообще показывается очень немногим (героиням книги вот показалась). Я бы даже сказала — по Иномосковью. И еще того глубже: эта книга — оптическое устройство, позволяющее перенастроить зрение так, чтобы стало возможно увидеть таинственную сущность города. Например, разглядеть его магическую геометрию.

У Москвы есть свой треугольник, магичности которого несомненно завидует Бермудский. Наверняка их в каждом городе, и в нашем тоже, несколько, но события романа волею судьбы происходят в одном из них, который автор знает подробнее всего. Вершинами треугольника можно считать Курский вокзал, Чистые пруды и Китай-город. Стороны его, они же — границы между пространством сакральным и профанным — Земляной вал (там-то, на самом краю магической территории, в одном из домов — Земляной вал, 48 — и живут девочки-колдуны), Воронцово поле и Яузский бульвар, Покровка и Маросейка. А внутри — пространство, полное внутренних складок с накопленным в них временем,

ветвящиеся ходами в возможности иного существования — Ивановская горка со своими переулками: Подколокольным, Хохловским..., Хитровка — район, кишевший некогда нищими, жуликами и ворами... там тревожно и по сию пору. У пространства есть память и сны!

А ведь существует еще и подземная Москва: русла подземных рек, подземные ходы и колодцы, подземное озеро, даже подземное море! Не говоря уж о метро, которое — вообще откровенно параллельная жизнь, где и пропасть недолго... Существуют трамваи, которые, пересекая границы городских урочищ, соединяют разноустроенные реальности друг с другом. (Ну кто бы стал отрицать, что Яузский бульвар и окрестности метро «Ленинский проспект», с которыми соединяет его трамвай № 39, — реальности несопоставимо разноустроенные?) Город (по крайней мере тот, что очерчен названными сторонами треугольника) переполнен подтекстами. Как неспроста показалось одной из героинь, «обычный город — дома, улицы, школы, торговые центры — это только вывеска, наивная и простая». Правильно показалось. Он весь — волнующее, тревожное соединение видимого и невидимого, высказанного и умолчаний.

Без колдовства как стержневой темы романа об этом, может быть, и не догадаешься. Вернее, колдовство, реальное ли, мнимое ли, и связанные с ним интриги — прекрасный повод и способ об этом рассказать.

Москва — это головоломка, которую нам, москвичам, приходится разгадывать, — говорит бабушка самой младшей из героинь.

«— А если не разгадаешь? — спросила Аля.

— Если не разгадаешь, город тебе не откроется. Можно всю жизнь прожить в нагло закрытом городе и ничего про него не знать.»

Истинно так!

У Беленькой это показано на примере очень точной топографии — хоть ходи по улицам с книгой, как с картой. И не сможешь не почувствовать — не ощутить прямо телесно — разнокачественность открывающихся перед тобой городских пространств: «Они перешли Яузский бульвар, прошли Подколокольный переулок мимо ресторана, мимо старых домов, пересекли Хитровскую площадь. Дальше начиналась путаница узких и очень старых улиц с обшарпанными зданиями. Ходить так

далеко им запрещалось». «Светка прошла по Яузскому бульвару, затем по Покровскому, свернула на Покровку и зашагала в сторону Марсейки. Погожим летним днем в этом районе было жарко и душно — не то что в их тихом Обуховом переулке».

В своем романе (который потому только детский, что героям от девяти до тринадцати лет; потому, наконец, что дети с их незащищенностью и непривычностью к миру очень остро чувствуют эмоциональную, смысловую, образную неравномерность пространства... а что, взрослые разве совсем не чувствуют ничего такого?), Надежда Беленькая выполняет важную и нетривиальную работу, которую, не знаю, делает ли кто еще в нынешней детской и взрослой литературе — то есть именно художественными средствами. В историю взаимоотношений нескольких разных по душевному устройству героинь с одним городским урочищем она вписывает много наблюдений, явно добытых из живого опыта: об антропологии пространства, о субъективном, эмоциональном его картографировании, а особенно — пространства «своего», домашнего, давно и тщательно обитаемого, о непременной изнанке всего обжитого и знакомого. (Чувствую я, роман способен дать много материала для осмыслиения специалистам по гуманитарной географии, исследователям московских локальных мифологий.) Показывает нерасторжимую связь повседневности и мифологического сознания, то, как Москва именно обыденными практиками вроде, например, прогулок во дворе или утренних пробежек выращивает свое Иномосковье — и непредставима без него.

«...Для города миф и легенда важны не меньше, чем ваша информация!»

Вот, например, Гедеонов в своих львовской и киевской книгах пишет о днях, когда граница между мирами становится более тонкой и проницаемой: время перед самым Рождеством, дни поминовения мертвых. У Беленькой круче: в ее Москве граница между мирами проницаема всегда, каждый день, каждую минуту. Нам с вами тут стоит быть особенно внимательными и осторожными.

(Кстати, это касается не одних только улиц. Как опять же справедливо заметила еще одна из девочек-колдуний, «все странное».)

Не откажем себе в удовольствии еще одного небольшого спойлера: далеко не все из загадок, которыми полон роман, обретут к его концу свои разгадки, и не на все вопросы будет найден ответ. Куда и почему, например, пропадала таинственная девочка Натка, которая и взволновала умы героинь идеей колдовства? Почему Шаман расписывал магическими граффити стены Яузского бульвара и Воронцова поля, да еще и ночью? Случайно ли сошлись в одной точке времени-пространства похороны курицы старухой и шаровая молния? Действительно ли четверо воронят-подростков, которыми заканчивается книга, увидели, как девочки стоят вокруг молнии, зависшей в воздухе, «неподвижно, как статуи в старом парке, запрокинув лица и подняв руки

ладонями кверху», — или кто-то из девочек это придумал? И самое, самое главное: там, в мире романа, колдовство и вправду существует или происходит только в распаленном воображении героинь?

...И все-таки хорошая литература, хоть и не читает, как мы помним, мораль и не раскрывает всех карт, — чему-то непременно учит. Этот роман, например, учит своих читателей, сколько бы лет им ни было, чувствовать свое пространство (особенно — ближайшее, повседневное) и удивляться ему. Неважно, московское оно или нет. А город, как опять же справедливо сказал один из почти случайно мелькнувших героев книги, обязательно отзовется.

Мария Ануфриева

Недетская история игрушек

В мире, взявшем курс на geopolитическое противостояние, раздор и распри, гораздо легче найти то, что разъединяет народы. Тем ценнее говорить об общих материальных и духовных ценностях, понятных на разных континентах и, что немаловажно, в разные века. Однако не будем умничать, ведь речь идет об игрушках. У кого их не было? Они были у всех — разные, часто не детские выбранные, созданные в угоду идеологическим взглядам, тряпичные и высокотех-

нологичные... Отними у ребенка игрушку — и ты отнимешь у него детство.

«Дизайн детства: игрушки и материальная культура детства с 1700 года до наших дней» — объемный сборник статей зарубежных авторов, создающий обобщенный социокультурный портрет привычных с детства игрушек.

Представьте, что этот портрет не статичен, его пытались рассмотреть с разных ракурсов из нынешнего времени, заглядывая в предыдущие века. Не удивляйтесь, если он будет отворачиваться от вас, подмигивать, а то и скалиться, ведь привычная кукла может оказаться не тем, что вы думали... Чего стоит одна история про сделанную в полный рост восковую фигуру младенца с закрытыми глазами, которая предназначалась, как

Дизайн детства: Игрушки и материальная культура детства с 1700 года до наших дней / Под редакцией Меган Брендоу-Фаллер; пер. с англ. А. Ландиховой. — М.: Новое литературное обозрение, 2021. (Серия «Культура повседневности»)

считается, для обета исцеления больного ребенка в Португалии в конце XVII века. Но прежде чем она попала в Музей Виктории и Альберта в 1917 году, ею играло несколько поколений детишек на постоялом дворе в Кентербери.

В книге не единожды звучит мысль о том, что изначально куклы предназначались вовсе не для игры, а использовались в культовых и похоронных обрядах. В подтверждение исследователи обращаются к этимологии слова «кукла»: «немецкое *Puppe*, французское *oie* и английское *puppet* происходят от латинского *puppa* — вотивный образ, приносимый в дар божеству».

Дизайн детства — это насчитывающая три столетия история «изобретения детства», ведь «игрушки, как правило, раскрывают не детский мир, а мир взрослых ожиданий по поводу детства». Благодаря обилию деталей и примеров, каждая эпоха раскрывается своими гранями конструирования взрослыми индустрии детства.

Не уверена, что это исследование окажется востребованным самым широким кругом читателей — родителями, покупающими детям игрушки. Но оно точно будет интересно и полезно социологам, культурологам, искусствоведам, студентам профильных вузов, изучающим историю костюма и предметов материального быта народов, в конце концов — адептам (адепткам?) современного феминистского дискурса, наследующим идею дискриминации женщин, в том числе испокон веков навязываемой девочкам игрой в куклы.

Всех ждут содержательные открытия — от насыщенного фактами текста до развенчания патриархальных гендерных мифов: и в прежние века не все девочки любили играть в куклы и беспрекословно усваивали уроки добродетели, материнства и ведения домашнего хозяйства, предписанного игрой, а кто-то их откровенно ненавидел: «От кукол у меня всегда оставалось чувство мрачной насмешки над человечеством, которое они якобы изображают. В самом существовании куклы, в том, что она похожа на младенца, было для меня что-то зловещее, если не сказать жуткое. Я испытывала нервную, смешанную со страхом, неприязнь к этим

улыбающимся подобиям, которых девочки обязаны любить и испытывать к ним что-то вроде материнского чувства» (Фанни Кембл, британская актриса, первая половина XIX века).

Коллекционеры старинных и авторских кукол, игрушек ушедших эпох — еще один пласт целевой аудитории, который видится в списке читателей «Дизайна игрушек». Мне как коллекционеру кукол хорошо известен этот хобби-сегмент, поэтому позволю себе усомниться. Конечно, приятно осознавать, что твой кукольный шкаф — наследник известных еще с XVI века Dockenhaus, но фактуры для того, чтобы стать настольной книгой коллекционера данному изданию недостаточно. Впрочем, авторы не преследовали такую цель — перед нами не энциклопедическое или справочное издание, а произвольный экскурс в прошлое, одна из многочисленных мозаик калейдоскопа «дизайна детства 1700 г. — н.в.», который можно поворачивать и получать иные узоры снова и снова. И уж точно эта мозаика имеет право на жизнь и заинтересованное прочтение.

Основное внимание в книге уделено XVIII веку, когда, по мысли авторов, впервые сформировалось представление о том, что игра — дело детей, выросшее из просветительского осознания «детства как особой стадии развития человека», и веку XIX, поставившему производство игрушек на фабричный поток.

И если в эпоху Просвещения игрушки выполняли функцию воспитания и нравоучения, готовили детей к исполнению предписанных им социальных ролей, то уже скоро — семимильными шагами — превратились в средство, позволившее исследователям назвать детей популярным ныне словом «потребитель». Воспитание ребенка-потребителя на примере игр, игрушек и обучения покупкам в Великобритании XVIII века подробно описывает Серена Дайер. Уже тогда навеянная идеями Джона Локка педагогика взяла в спутницы коммерциализацию, что подтверждает столь знакомая современному читателю взаимосвязанная продажа игрушек, детских книг и аксессуаров. Автор подробно

рассказывает о практике ведения детьми высшего сословия «маленьких записных книжек» для фиксации расходования карманных денег, что формировало ранние навыки финансовой грамотности, столь необходимой впоследствии хозяевам усадеб и поместий. Такая скрупулезность и не снилась современным юным потребителям. Например, племянница Джейн Остин вела учет своих трат всю жизнь, начиная с десятилетнего возраста. И все же считается, что до начала XX века дети не обладали знаниями, опытом и правом на покупку: «К 1900 году дети в западном мире заняли положение бесполезных, но бесценных в эмоциональном смысле членов семьи, и вокруг них сформировался целый потребительский мир».

Пытаясь осмыслиТЬ детское потребление в XX веке, зарубежные исследователи спорят, остался ребенок «эксплуатируемым» или стал «эксплуататором». В любом случае, даже банальное детское «выклянчивание» нашло свое научное определение и описание (термин «*pester power*» означает ожидание производителей, что дети просьбами рано или поздно заставят родителей купить рекламируемую игрушку).

Но и упрощенная бинарная модель «жертвы» и «сильного потребителя» подверглась критике: «<...> детство и культура потребления взаимно формируют друг друга, и невозможно точно указать момент, когда дети стали частью рынка. Сегодня ребенок вовлечен в потребительскую культуру уже с первых дней жизни, а зачастую и до рождения. Родные и близкие зачастую «создают образ своего ребенка, представляя, что у него будет или чего он захочет», примеряют на детей готовые идентичности, имеющиеся в окружающем их материальном мире».

Стоит отметить, что перед нами своего рода и книга-полемика, книга-спор, когда авторы, склоняясь к определенной точке зрения, приводят в сносках альтернативные концепции, и все это, несомненно, работает на общий замысел: показать историю становления материального мира и культуры детства всесторонне, без единственно верных трактовок, которых в данном случае и не может быть.

Едва игрушка была осмысlena как необходимый и самостоятельный атрибут детского бытия, она тут же попала под влияние политических, социально-экономических, идеологических реалий. Яркий тому пример — куклы, на протяжении трех веков как воплощавшие в себе передовые идеи и настроения общества, так и закреплявшие существующие паттерны, а может, и пороки: «В конце XIX столетия наступил «золотой век» кукол французских фабрикантов Пьера Жумо и Аделаиды Уре. Их миниатюрные наряды «от кутюр» отражали озабоченность общества Второй империи внешней роскошью, а критики сравнивали этих кукол с элитными проститутками, заявляя, что «роскошь» французской куклы в морально-этическом смысле напрямую связана с коррумпированной легкомысленной властью Второй империи».

О западных фабрикантах, наживавшихся на империалистическом дискурсе и официальном расизме пишет Джейкоб Золманн в статье «Игрушки для империи? Материальная культура детей Германии и германских колоний в Юго-Западной Африке в 1890—1918 годах». В колониальный контекст оказались вовлечены игрушки по всему миру: «В США начала XX века механические игрушки и копилки буквально вдохнули жизнь в пагубные расовые стереотипы. Копилки часто делались в виде фигурки бедного афроамериканца, занятого низкооплачиваемым ручным трудом, либо ленивого веселого музыканта с характерными для механической игрушки отрывистыми движениями. (Последний вариант копилки оказался на пике популярности как раз в то время, когда белые представители среднего класса чуть не лишились работы из-за притока иностранных мигрантов)».

В Германии большую популярность приобрели колониальные оловянные солдатики, пропагандировавшие идею немецкого превосходства. Для девочек же появился новый популярный вид кукол под названием *Negergruppen* (в английской версии — голливог). «Эта кукла изображала пупса с африканскими чертами лица, утрированными и подчеркнутно детскими. Термин «голливог» стал обозначать целый ряд разнообразных черных кукол, представлявших

расовые стереотипы. Германских Negegruppen, как и американских голливогов, использовали, чтобы через материальное воплощение в кукле стереотипных черт африканцев (толстые губы, экзотический наряд) объяснить и привить понятие "расы". У этих черных кукол была четкая задача: они служили инструментами расового внушения».

В начале 1920-х годов в Германии художницы Кете Крузе и Марион Каулитц создавали гендерно-нейтральные «характерные куклы» с неповторимыми чертами лица, тем самым используя «реформированных» кукол, чтобы формировать собственную среду на основе феминистских принципов».

В 1985 году в США был создан бренд American Girl Dolls (AGD). «Компания, основанная американской учительницей и автором учебников Плезант Роуланд, стала выпускать линейку высококачественных кукол, аксессуаров и книжек, которые предлагали девочкам позитивные исторические ролевые модели в качестве альтернативы Барби и прочим куклам-манекенам. Изначально линейка кукол и соответствующих рекламных книжек сосредоточилась на трех выдуманных персонажах: это Кирстен, шведская иммигрантка середины XIX века; Саманта, сирота времен конца викторианской эпохи; и Молли, представительница эпохи Второй мировой войны. В 1990-е годы компания расширила линейку AGD, в которую вошли образы американских девочек разных культур. Среди них были латиноамериканка, афроамериканка и представительница еврейской диаспоры. Кроме того, появилась новая линейка современных кукол: каждая девочка теперь могла создать куклу, похожую на себя, самостоятельно выбирая из более чем двадцати вариантов тона кожи, цвета и типа волос, черт лица и цвета глаз. Но план Роуланд сурово раскритиковали за то, что ради повышения продаж она изрядно «подчистила» историю американской иммиграции и этнических меньшинств, а ее персонажи оказались наделены раздутой исторической агентностью, которой на самом деле не могло быть у их прототипов. Ирония состоит в том, что бренд, который начинался как "анти-Барби", был куплен в 1998 году за 700

миллионов долларов фирмой Mattel, управляющей компанией Barbie».

Та же компания Mattel выпустила в 1990-х годах линейку темнокожих Барби с реалистичными формами. Барби-афроамериканки выпускались под брендом «Шани и ее друзья». «Их рекламировали как кукол с "правдоподобными" чертами: широкие черные бедра и ягодицы, полные губы и более широкий нос. Кроме того, в самой упаковке и в одежде куклы (ткань с орнаментом из переплетенных линий) эксплуатировалась идея о ее гордом африканском происхождении. Создание правдоподобной темнокожей куклы оказалось для фабрикантов нелегкой задачей — именно потому, что нужно было "представить культурные, расовые и фенотипические отличия и не впасть в упрощенный стереотип, вроде полных губ и широких бедер", созданный научным расизмом XIX века. В конечном счете все попытки придать Барби "туземный" вид с помощью краски или одежды и тем самым пойти навстречу мультикультурализму закончились для производителей игрушек созданием еще одной рекламы, едва ли способной к критике официального расизма».

Всемирно известная датская компания LEGO по-своему напоролась на то, что сейчас мы бы назвали новой этикой. Начав с гендерно-нейтральных идеалов свободного творчества, в результате затейливых перипетий ребрендинга производитель определил «основного покупателя конструктора LEGO как белого, привилегированного мужчину». Его образ воплотил в себе мальчик «Зак — Лего-маньяк», герой успешного рекламного ролика 1980-х годов, и именно ему и предназначались новые линейки конструкторов на военную и технологическую тематику, а для девочек продавались отдельные фантазийные конструкторы в пастельных тонах. Например, серия LEGO «Friends» 2012 года выпуска.

В наборе были представлены кубики пастельных тонов и женственные фигурки наподобие кукол. Эти конструкторы продавались уже не в «синем» гендерно-нейтральном уголке LEGO, а в «розовом» потребительском уголке, рядом с Барби. «Новый гендерноориентированный

маркетинг и игровые сценарии LEGO подверглись коллективной критике на феминистских ресурсах за то, что наборы, сосредоточенные на гетеронормативных темах (красота, дом, готовка и верховая езда), ограничивают творчество по сравнению с конструкторами для мальчиков (предполагающими сражения и приключения). В феминистских соцсетях разошлась картинка с двумя рекламами LEGO: на изображении 1981 года девочка держит в руках постройку из LEGO свободной формы, а в 2014 году девочка держит гендерно окрашенную игрушку из линейки Friends. Второе фото снабжено подписью: «В чем разница?»

Этот и множество других приведенных в книге примеров показывают, как, с одной стороны, игрушки три века шли к тому, чтобы

стать частью идеологической, социальной, общественно-политической повестки, с другой — болезненную, немедленную и отнюдь не игрушечную реакцию общества на педалирование актуальной повестки в сфере детского потребления.

Иногда человека настолько захватывает дизайн детства, что расставаться с ним он не хочет. В книге вскользь упоминается культура кидалтов (от англ. kid — ребенок и adult — взрослый), получившая распространение в XXI веке. Для этих взрослых, увлеченных детскими играми, также выпускаются игрушки, например, кукольные домики, причем гендерно-нейтральные, что роднит XXI век с XVIII, когда коллекционирование кукол не было исключительно дамским занятием.

Библионавтика

Ольга Балла

Огромная, как большой мир

Дочки-матери, или Во что играют большие девочки: сборник / Сост. И.Головинской. — М.: Время, 2021. — 224 с. — (Диалог) — Авт.: Диана Арбенина, Екатерина Барабаш, Лилия Владимирова, Саша Галицкий, Ирина Головинская, Линор Горалик, Люба Гурова, Мария Игнатьева, Ольга Исаева, Марта Кетро, Наталья Ким, Вера Копылова, Екатерина Корсунская, Анастасия Манакова, Ирина Машинская, Тинатин Мжаванадзе, Ира Нахова, Гелия Певзнер, Людмила Петрушевская, Евгения Пищикова, Юлия Рублва, Ална Солнцева;
Ева ЛЕВИТ. Мама, ты лучше всех!: Как родить пятерню и не сойти с ума. — М.: Время, 2020. — 224 с. — (Где наши не пропадали).

Изданная «Временем» в серии «Диалог» книга о том, во что играют большие девочки, оказавшись в роли дочери и / или матери, — и в самом деле диалогична.

Составленная из рассказов, воспоминаний, эссе о дочерях и матерях, дочерей и матерей друг о друге, она написана со множества разных (иногда до противоположности) точек зрения и позиций: от притяжения до отталкивания, от счастливой благодарности и нежности до раздражения, гнева, обиды и потребности защищаться. Все это составляет, как видно практически из каждого текста, совершенно и принципиально не распутываемый клубок, нерасторжимый комплекс отношений. Разные нити этого клубка — показывают нам авторы и собравший их высказывания в мозаичное целое составитель, — не только предполагают, но требуют и создают друг друга. И вообще состоят из одних и тех же волокон.

Затем и разножанровость: чтобы рассмотреть волокна разных видов.

Книга-переживание и книга-исследование одновременно, этот сборник — о силе и трудности связи между матерью и дочерью, замечаемых обеими сторонами.

«Я мечтала о мальчике, — признается Евгения Пищикова, — оттого, что в моей семье из поколения в поколение передавалась традиция чрезвычайной связи матери и дочери. В определенном смысле у нас многопоколенческая семья симбиотов».

«Звони в расцвете сил, — формулирует Люба Гурова "правила общей безопасности" при общении с матерью по телефону, и метафоры при этом — одна красноречивее другой. — Не в том дело, что голос должен быть фальшиво бодрым, а в том дело, что если я устала и не держу удар, то какой-нибудь ловкий хук да пропущу и поезд сойдет с рельсов. <...> У мамы радар на все, что может в вашей жизни пойти не так. Радар устроен интересно, мамина карта звездного неба с вашей ни в чем не совпадает, но на маминой карте много страшных зверей. Мама беспокоится. Если у вас все спокойно — мама найдет, о чем беспокоиться».

«Она так беспокоилась за меня, — вдруг совпадает с нею, говоря о своей маме, в совсем иначе организованной истории Екатерина Корсунская, — что постепенно я перестала ей рассказывать, что со мной происходит, чтобы не волновать ее». И она же, дальше: «В детстве я чувствовала себя совершенно счастливой, а взрослой начала составлять список обид, как будто постепенно осознавая их. Обиды выстраивались в ряд и тянули руки, кто первый...»

«Мы всегда не совпадали во времени, — вспоминает Ирина Нахова, — когда я нуждалась в маме: “Мама! Мама!” — ей было не до меня. А когда она стала: “Ира! Ира!” — то я оказывалась в недосягаемости».

Авторы книги — почти сплошь, как это модно нынче говорить, авторки (да и составитель — тоже составительница); единственное среди них исключение мужеска пола — Саша Галицкий. Русский израильянин Галицкий присутствует здесь не столько как писатель, сколько как практикующий психолог, психотерапевт, педагог, автор курса социально-психологической реабилитации пожилых людей посредством творчества, одна из книг которого была посвящена тому, «как научиться общаться с пожилыми родителями и при этом не сойти с ума самому». Один из двух на всю книгу специалист с профессиональным подходом к теме разговора, он тут, однако, говорит почти как частный человек, взъяренно и удивленно — о проблеме, с которой профессиональными средствами ему справиться не удалось. Позиция психолога в строгом смысле представлена в книге Юлией Рублёвой, психологом-практиком, с 2012 года ведущей собственную авторскую группу «Мама и мои отношения». Кстати, эссе Рублёвой вынесены в особый раздел — «Вместо послесловия», поскольку и интонационно, и рациональной, профессиональной прорефлектированностью представленной в них позиции отличаются от всех остальных текстов книги. Они предлагают некоторую вполне твердую основу для понимания всему, о чем в ней говорится. Причем говорится изнутри, в конечном счете, вовлеченности и в дочерне-материнские отношения, и в их большие исторические обстоятельства. «Наши родители, те, кто родился сразу после войны, особенное поколение, — старается автор с самого начала взять предмет разговора в историческую рамку и ею же многое в нем объяснить, хотя в сборнике участвуют представители очень разных поколений, и это касается далеко не всех обсуждаемых здесь родителей. — Инфантильное или слишкомластное, жесткое и жестокое, беспомощное в обычных человеческих проявлениях и часто вовсе бесчеловечное — таким выглядит это поколение во многих историях, которые рассказывают их выросшие дети».

Галицкий же — единственный участник разговора, в дочерне-материнские отношения не вовлеченный, носитель взгляда извне, он знает об этих отношениях в силу профессиональной позиции, пожалуй, побольше основного числа вовлеченных.

— Я неудачная дочь, — сообщила мне неудачная дочь 51 года от роду.

— С чего ты взяла?

— Мама все время мне это говорит. И вздыхает: “Ну что же, видно, ничего уже не исправить...”

— Ты? Неудачная дочь?! Ты, которая почти каждый день заходит ее проводать, возишь по врачам, когда приспичит, и сидишь там с ней часами, выясняя на приеме у врачей подробности?! Ты, которая до десяти раз в день звонит ей по телефону — и последний контрольный звонок в ухо всегда ровно в 23:00? Что бы с тобой ни происходило в этот поздний час? Ты?! Которой, если не дай бог что-то все-таки случится, понадобится от 20 секунд до двух минут, чтобы, задыхаясь, оказаться подле маминой двери?

— Да. Я. Неудачная дочь».

Отчаявшись переубедить собеседницу, в конце своего текста Галицкий восклицает:

«Может, у людей, как и у зверей всяких хищных, родители воспитывают щенков, натаскивая на все житейские сложности, пока озверевший подросток не покусает собственную мать за ее же хвост? И только тогда родители начнут щенков своих уважать, понимая, что наконец-то их воспитали и подготовили к жизни? И если этого не происходит никогда, то, мол, и “неудачная дочь”?

Как думаете?

И че делать?»

Это — запись из блога Галицкого (видимо, пост из фейсбука), которую в книге сопровождает один из комментариев — анонимный.

«*Для меня это больная и личная тема, — пишет неназванная собеседница автора. — <...> У нас почему-то принято считать, что родители — это святое и им позволено унижать, обесценивать, постоянно критиковать, это они так проявляют “любовь”. Я уже давно решила, что могу счастливо и спокойно прожить без такой любви и, соответственно, послала. Очем не жалею. С родителями, как мне когда-то сказали, тоже должно повезти. Они тоже бывают “неудачные”.*

И это — решительное отвержение — одна из крайних точек развернувшегося в книге разговора. Вторая крайняя точка — счастливое благодарное принятие — представлена, пожалуй, воспоминанием Тинатин Мжаванадзе («Купание младенца») о том, как ее мама практически волшебной силой вылечила ее маленького сына и вообще поставила распадавшуюся жизнь на место и вернула ей совсем было утраченную гармонию.

Текст Галицкого составитель мудро запрятала в самую сердцевину книги, не превращая его ни в послесловие — итог всему здесь сказанному, ни в предисловие — ключ ко всему сказанному, хотя ведь очень напрашивается, — наверно, именно потому, что очень напрашивается. Дело, кажется, в том, что при обсуждении громадного, размером во всю жизнь, вопроса отношений между матерью и дочерью лучше и честнее всего — именно разомкнутая конструкция, без окончательных выводов и ответов. (И даже взятые советы Юлии Рублёвой о том, как воспринимать родителей и связанные с ними болевые точки, — никак не окончательные ответы, хотя на них можно и нужно опираться, — общие идеи тут такие: прощать, жалеть и понимать. Себя, кстати, тоже.)

Книгу можно было бы назвать психологической, будь она в целом более аналитичной и отстраненной. То есть, по вниманию практически всех авторов к душевным подробностям куда более, чем к социальным она, конечно, психологична. Но предмет обсуждения — такого свойства, что говорить о нем отстраненно, аналитично и уравновешенно, особенно если ты в обсуждаемые отношения включен, — значит все-таки ощущимо его упрощать. Поэтому разговор получается эмоциональный, страстный и пристрастный, а книга в целом — скорее уж мифологической.

Все-таки мать — как показывают нам даже наиболее рациональные и аналитичные из участниц разговора (например, Евгения Пищикова), — фигура магическая, волшебная, власть которой над дочерними чувствами и воображением, безусловная в детстве, не прекращается никогда. Отношения с матерью — это отношения с собственными истоками («Мама — это плацента, детское место, питание и дыхание», — говорит Екатерина Корсунская, думавшая вначале, что в силу безусловности этой связи ей о маме и написать-то нечего). И с собственным прообразом, — совсем не обязательно генетическим, но уж точно символическим.

(В этом смысле показательна история, рассказанная Екатериной Барабаш, где не ведающая о своем удочерении девушка упрекает родителей, на самом деле приемных,

в том, что все свои неправильные и неудобные, по ее чувству, качества и свойства она унаследовала от них.)

Отношения матери и дочери — прежде всего символические (при том, что в чистом виде их мифологичность проговорена тут в единственном тексте — в рассказе Анастасии Манаковой, под конец которого вдруг выясняется, что Мать — так, с большой буквы — девочки Наташи, огромная, «как большой мир», шерстистая, таинственная, «вот уже двести с лишним лет» спит в подземной пещере, и Наташа, вдоволь накатавшись на катке, всегда возвращается к ней: ползет в глубь норы, «упорно двигая руками осыпающуюся землю, <...> на звук и животный теплый запах, бьющий в лицо» и зарывается «с головой в жесткую, как иглы, остро пахнущую шерсть»). Дочь и мать (нет, так: дочь-и-мать) — это же архетипы. Один двуединый архетип. «Бифем», как выразилась Людмила Петрушевская.

Дочь-и-мать — показано нам в книге — это всегда в какой-то мере об (архетипической) невозможности (быть «достаточно хорошей», например, — дочерью ли, матерью ли; не быть виноватой, не обижать и не обижаться; сохранить полноту детского доверия и единства; понять и принять вполне; защитить и удержать от смерти, наконец). И о неразрывности связи — вопреки всем невозможностям. Связи, которая, наверное, даже сильней и неотменимее любви — если вдруг почему-то на нее перестает хватать (суетных, страстных, эгоцентричных и уязвимых) человеческих сил, — и не прекращается даже после смерти, которой она уж явно сильнее.

моя мама уже умерла
но не во мне, не во мне
и я гимн сочиняла
о любви материнской
что не знает ответа

в честь любви простодушной
отчаянной и слепой
в честь руки протянутой
губ протянутых
старых увядших
я не плакала
но мама была со мной
я сама была уже мамой
из того же племени падших

Так пишет в самом начале книги — задавая тон всему дальнейшему разговору, — Людмила Петрушевская.

Во что же играют большие девочки?

В жизнь и в самих себя — в том числе до полной гибели всерьез.

И тут самое время обратить внимание на книгу Евы Левит, которую так и хочется прочитать единым взглядом с дочерне-материнским сборником. Связана с ним книга Левит хотя бы уж тем, что она — тоже об отношениях матери с детьми и издана тем же «Временем» (правда, в совсем другой серии — «Где наши не пропадали»). Ну, то есть чем-то родственна инструкциям по выживанию. Мы вскоре увидим: да, очень родственна). Автор — мать шестерых детей, пятеро из которых — близнецы. Более того, некоторое время она растила их в одиночку, что в голове почти не укладывается, но тем не менее, если верить автору (а что за основания у нас ей не верить?), — все получилось. То есть получились шестеро (ну, пока пятеро: на момент написания книги близнецам было по восемнадцать, а шестой, младше их на три года, до совершеннолетия еще не добрался) взрослых людей, совершенно разных в своем душевном устройстве и объединенных лишь тем, что каждый из них — счастливый, яркий, гармоничный,

самодостаточный. И да, у каждого прекрасные отношения с самим собой и с матерью. «Мама, ты лучше всех!» — это они сказали.

«Ох, — воскликнет в смятении человек из семьи с куда более традиционным составом, но не имеющий оснований похвастаться всем перечисленным, — да как такое возможно?

Вот нам и рассказывают, как возможно.

Книга Левит действительно читается как дополнение к сборнику, добавляющее к рассказанным в нем историям то, чего там все-таки недостает: именно ту самую инструкцию. Среди нескольких жанров, к которым этот текст принадлежит одновременно: и (психологическая по преимуществу) автобиография с элементами самоанализа, и исповеди (нетипично закрытая в ряде отношений — например, принципиально не называющая своих детей по именам и предпочитающая упоминать их под номерами: № 1, № 2... и так далее до шестого, Левит временами откровенна и до бравады и провокативности, и до беззащитности), и «история успеха» (как справедливо сказано уже в аннотации к книге), и «медицинская проза», — «психологическая инструкция для родителей», пожалуй, занимает одно из ведущих мест.

Для советов тут даже заведена сквозная, время от времени перебивающая повествование, рубрика «Педсовет», в которой прямо говорится, что делать, как и даже почему. Как, например, обходиться с любовью детей к сладостям («дети хорошо улавливают позывные организма и едят именно то, что последнему требуется», а «мозг не живет без глюкозы»). Чему важнее всего их научить («принимать решения» — самостоятельно, «от самых мелких до жизненно важных», а также «с самого раннего возраста <...> заботиться о других» и ни о ком не судить поверхностно, но при этом отстаивать себя и не стесняться слова «Я», которое только в русском алфавите, несчастной волею судеб, последняя буква. А когда-то было и первой: «Аз»!). Что важно им разрешать — даже если не хочется (пробовать устраивать дела по-своему и при этом ошибаться). Как с ними себя вести («с детьми всегда надо взвешивать слова», общаться — серьезно и на равных и более того! — даже не наказывать, но заменить наказание «исправлением содеянного». «Глаза в глаза, брови в брови»). О том, что их, не обманывая, надо готовить «к несовершенному и опасному миру»: «детей категорически нельзя кормить сказками про прекрасный и добрый мир, заполненный цветами, бабочками и отзывчивыми людьми». И при этом обязательно создавать у ребенка уверенность, «что со всем, то есть абсолютно со всем, он может прийти к тебе — родителю».

Кстати, Левит — профессиональный, практикующий психолог, знает, что говорит.

Это, конечно, осмысление экстремального опыта. Притом — осмысление на редкость конструктивное.

Экстремальность ее опыта началась прямо с того самого момента, как будущая мать узнала о своей беременности четырьмя близнецами (то, что их пятеро, выяснилось чуть позже) и ей тут же предложили то, что называется «редукцией». То есть внутриутробное умерщвление части детей. На выбор.

«А делается она, кстати, так.

Под контролем ультразвука с помощью тонкой иглы через брюшную стенку матери в грудную клетку эмбриона вводится яд.

Эмбрион при этом должен быть молодым — желательно не старше 8—9 акушерских недель беременности, максимум — до 13.

Это для того, чтобы, погибнув, растворился без следа и (не обладая излишней массой) не отравил соседей по матке.

При этом игла выбирает (под чутким руководством врача, конечно) того, кто «покрупнее». Если, конечно, слово «покрупнее» уместно в случае разницы в пару десятых грамма».

Реакция — при всем понимании опасностей, очень трезвом, — была такой: «Нет, это совершенно невозможно».

Не смягчая трудного, не преуменьшая страшного (иной раз, пожалуй, даже подчеркивая его), автор укладывает пережитое в — насколько такое вообще возможно — конструктивное русло. Рассказывает нам о корнях ценностей и установок, ставших основой того, что она справилась с очень сложной совокупностью задач.

Что же касается ответа на вопрос, как все это возможно и что для этого нужно, то ответ напрашивается такой: прежде всего, надо быть Евой Левит (Ириной Левитиной по прежней жизни — переехав в Израиль, она даже имя себе изменила — не затем, чтобы полнее вписаться в израильский контекст, но именно с той целью, чтобы правильно себя настроить), с ее душевным и умственным устройством. При всем умении с хирургической точностью видеть трудное и страшное в ее сознании принципиально нет двух (многое уничтожающих) качеств: катастрофизма (точнее: вкуса к катастрофизму, трагизму, отчаянию, потребности в том, чтобы поддаваться их соблазну, — а они, ох, соблазнительны!) и склонности себя жалеть. И «само-пожертвование» — тоже, кажется, не из ее лексикона (скорее уж самоутверждение и самореализация, от которых Левит не намерена была отказываться). Она, борец и победитель по изначальному душевному типу, привыкшая быть первой и бросать вызов трудностям («И общизвестное прозвище у меня было, кочующее со мной из одного учебного заведения в другое, из инстанции в инстанцию, как то самое переходящее красное знамя, — Королева. И дипломы у меня все красные»), решала задачи.

То есть на самом деле история очень индивидуальная.

Но и тому, кто волею судеб родился и вырос с другим душевным устройством, тут есть чему научиться. Заинтересованные имеют все возможности примерить на себя хотя бы некоторые лайфхаки, о которых рассказано в рубрике «Педсовет», проверить, в какой мере они работают на другой психологической и биографической почве.

А вообще все это наводит на мысли о том, как роль матери меняет и выражает человека, дает ему (ей) возможности стать больше самой себя (конечно, ими можно и не воспользоваться, но они есть). Мать — это не только о заботе, любви, понимании, ответственности, смирении, самопожертвовании (и волшебстве, да, как же без этого), — это еще и о человеческой крупности, которой возможно научиться. Мать — это огромно, как большой мир.

А роль дочери, к которой материнство обращено, которой оно адресовано, — еще и для того, чтобы все это смогло осуществиться.

Правила игры

Борис Минаев

Эй, взрослые!

Когда-то любая интеллигентная московская семья обязана была сводить ребенка на «Синюю птицу» во МХАТ. Это был ритуал, такая традиция, что-то вроде конфирмации культурой — можно было отложить эту историю до шести, до семи, ну, максимум до восьми лет. Но уж никак не до девяти!

Шучу, конечно. Откладывали, да и не все попали на этот чудесный спектакль.

Меня, например, мама сразу повела на «Старый Новый год» Розова в филиал МХАТа (теперь там находится Театр наций). Я мало что понял в свои десять лет, но был потрясен. С течением времени выяснилось, что первая пьеса была выбрана правильно — я люблю театр и всю жизнь в него хожу.

Спектакль «Синяя птица» бережно сохранялся из поколения в поколение, в него вводили все новых и новых актеров.

Но постепенно спектакль ветшал и старел, и я хорошо помню то время (90-е годы), когда «Вредные советы» Григория Остера в театре «Школа современной пьесы» постепенно вытеснили «Синюю птицу» и на несколько лет стали главным детским спектаклем Москвы. Затем место «Вредных советов» (в нулевые) занял «Конёк-горбунок» в МХТ.

В этом сезоне — скорее всего — таким спектаклем станет «Маугли» в ТЮЗе — огромные ростовые куклы, маски и трансформеры, оглушительные эмоции, словом, яркий и зрелищный спектакль наверняка привлечет к себе продвинутых родителей, а они информацию «о хорошем» быстро передают друг другу.

Однако за это время встал совсем иной вопрос — а что такое вообще «детский театр»? Нужен ли он в современном мире? Не устарела ли сама институция?

Прошедший недавно 100-летний юбилей РАМТа (бывшего Центрального детского, а ныне — Российского академического молодёжного) дает, в общем, некое представление о том пути, какой проделала эта идея за последний век, особенно, скажем, за 30—40 лет из этих ста.

В 1986 году тогда еще Центральный детский поставил пьесу Юрия Щекочихина «Ловушка номер 46. Рост второй». Я помню, как Юра относился к этой пьесе, я знал, на основе чего она создавалась: ведь до того, как заняться расследовательской журналистикой, Щекочихин долгие годы работал в «школьном отделе» газеты «Комсомольская правда», выпускал страницу для подростков «Алый парус». «Алый парус» — это была почти религия, настоящий культ для нас, молодых журналистов (и не только журналистов) в 70-е и 80-е годы. Прежде чем начать бороться с организованной преступностью, Юра долго боролся с заскорузлыми представлениями о том, что подростковая жестокость или подростковый суицид (о котором тогда вообще не говорили) — случайность, вина конкретной школы или конкретных родителей. По его мнению, это было лишь отражением, симптомом глубочайших социальных проблем,

охвативших тогда страну, — ощущения неустроенности, потеряянности, социального одиночества и «оставленности» миллионов и миллионов людей, среди которых подростки были на первом месте.

Говоря сегодняшним языком, именно в этих взрослеющих людях он увидел ту бунтующую силу, которая способна привести потом к широким изменениям.

На поверхности лежали разные проблемы — подростки сбивались в неформальные группы, порой довольно криминальные. Подростки были готовы ради престижных вещей обмануть, а то и убить. Подростки отгораживались от правил и законов в своем отдельном мире.

Но в глубине лежала именно эта ситуация подспудного брожения — огромная часть общества соскочила с идеологического крючка, с ними нельзя было больше разговаривать на прежнем «авторитетном» языке — ни в жизни, ни в журналистике, ни в искусстве.

...По времени эта пьеса Щекочихина совпала с «новой волной» в кино, где героями стали «неудобные подростки»: с фильмами Динары Асановой («Не болит голова у дятла», «Ключ без права передачи», «Пацаны»), Сергея Соловьёва («Сто дней после детства», «Спасатель»), Ролана Быкова («Чучело»). В советском искусстве впервые заговорили о буллинге, до сих пор мы помним этот шок, фильм Быкова, конечно, намного опередил свое время! Но я должен отметить, что если фильмы уже вышли, книги или сценарии, по которым они ставились, уже были написаны, то в театре — «Ловушка» была едва ли не первой ласточкой.

Настолько жестко и настолько остро о подростках еще никто не говорил на сцене. Я помню, какое же это было громадное, просто космическое событие для Юры Щекочихина, сколько сил он вложил в свои пьесы, в свои повести, но на роду ему было написано жить и умереть бойцом газетной строки, а спектакль был невероятный, конечно, сколько этой подростковой сумасшедшей энергии, энергии нового поколения они тогда вытащили на сцену, это был знаковый и поворотный для театра спектакль — живой еще и молодой Дворжецкий, молодые Серов и Весёлкин и другие, все они просто светились этой энергией, сияли ею.

Всю классическую советскую эпоху детский театр жил в привычной «воспитательной линейке»: мы делаем спектакли для самых маленьких, потом для зрителей из начальной школы, для постарше, и, наконец, — «для подростков и юношества». Там, конечно, были свои удачи, неудачи, даже свои шедевры, — но принципиально важен был адрес, точка отсчета: мы делаем спектакли для них. О них. Мы — взрослые. Они — дети.

Но с какого-то момента, с 60-х годов прошлого века, изменилась сама система координат — детские театры стали говорить со взрослыми от имени нового поколения, пытаясь сказать то, что на «взрослой» сцене говорить не удавалось.

Детский театр, ТЮЗ — странным образом стал территорией свободы, пограничной территорией, где любимые персонажи детских сказок: зайцы и волки, бабы-яги и мальчиши-кибальчиши, новогодние елки, круговорть волшебства и романтической борьбы добра со злом — вдруг сделались «движущей силой» и в каком-то смысле даже маскировкой для эстетической революции.

Первыми баррикадными боями стали спектакли Адольфа Шапиро в Рижском ТЮЗе. Он пришел туда в 1962-м, прямо со студенческой скамьи, и с молодой безоглядностью взял на себя руководство театром. Вскоре на спектакли в Ригу начали приезжать критики, журналисты и просто театральные зрители из Москвы, Ленинграда, Таллина, со всей страны, все хотели это увидеть, все хотели подышать воздухом этой театральной свободы. Чеховский «Иванов» (1975) оказался настолько революционен

(и здесь мы можем только в очередной раз пожалеть, что театральные спектакли, в отличие от кинофильмов, почти всегда исчезают бесследно), что «Правда» обрушилась на него с гневной статьей.

Но Шапиро выдержал, и за те почти 30 лет, что он руководил театром, границы не только ТЮЗовской эстетики, «театра для детей», но и театра как такового неуклонно раздвигались с каждым спектаклем, тут можно вспомнить и «Принц Гомбургский» Генриха фон Клейста, и «Страх и отчаяние Третьей империи» Брехта, и чеховского «Лешего», и «Демократия!» Бродского, и еще многое другое. Пришло и международное признание: в 1990 году Адольф Шапиро был избран Всемирным Президентом Международной Ассоциации театров для детей и молодёжи (АССИТЕЖ). А в 1992-м оказалось, что уникально-двухязычный, новаторский, свободный театр новым латвийским властям мешает. Рижский молодёжный ликвидировали. Режиссер вынужден был уехать в Москву...

Я не видел те рижские спектакли в силу возраста и обстоятельств, но... Есть театральные легенды, которые со временем лишь приобретают в многозначности, в весе — спектакли Шапиро из этой категории.

Поиски интеллектуальной свободы, попытки взорвать жанры и смыслы — шли, конечно, не только в Риге, был замечательный ленинградский ТЮЗ имени Брянцева Зиновия Корогодского, был Горьковский ТЮЗ Наравцевича, были первые спектакли театра Спесивцева в Москве в 70-е годы — очень часто то, что предназначалось вроде бы только для подростковой аудитории, становилось полной сенсацией для взрослых. Оказалось, что эта «пограничная территория» детства невероятно благотворна для «взрыва шаблонов», и далеко не случайно, что в режиссерской лаборатории у Марии Кнебель учились Шапиро, Бородин, Додин, Викторюк.

Эти поиски нового ТЮЗовского языка продолжались и в 90-е, а как же иначе.

И здесь важно вспомнить два спектакля Московского ТЮЗа: «Пушкин. Дуэль. Смерть» и «К.И. из "Преступления" Камы Гинкаса. Оба шли в 90-е на малой сцене, во флигеле, — камерные спектакли, собиравшие самое большое 20—30 зрителей, но имевшие оглушительный успех. Гинкас предложил смотреть на эти фигуры и тексты «для зубрежки» (Пушкин, Достоевский) — опять-таки глазами наивного и упрямого подростка-старшеклассника, не понимающего, как взрослые могут *не видеть* и *не понимать*. Школьная программа стала плацдармом для наступления на отжившие идеологические миры. То, как металась Катерина Ивановна по маленькой комнате среди немного напуганных зрителей, погружая их в кошмар своего нищенского и беспросветного существования, то, как сидевшие за столом современники Пушкина копались в его мятущейся душе, безжалостные и искренние в их дистанцированности от трагедии, происходящей с другим человеком, — все это взрывало наши заскорузлые стереотипы, так же как взрывала щекочихинская «Ловушка» в Центральном детском.

Ну, по крайней мере, тогда я воспринял эти спектакли так. Их «лабораторный характер» не мог обмануть.

Так готовилась революция в понимании детского театра как явления. И само время этому немало способствовало. Само это время было неустойчивым, тревожным, как холодный весенний ветер, и, конечно, оно было революционным — тогда менялось многое, в культуре в том числе, в театре уж тем более. Больше не существовало «отделов культуры» и «худсоветов», над душой не стояли чиновники и методисты, ортодоксальные критики, ушло и прежнее понимание задач детского театра.

Надо сказать, что и раньше, то есть в иные, далекие времена Центральный детский время от времени опережал театры взрослые. На шаг, на миг, но опережал. Это было и во времена Наталии Сац, и во времена Марии Кнебель, в 50-е годы в театре

работал Олег Ефремов, который затем увел группу ведущих актеров в созданный им «Современник», в 60-е — Анатолий Эфрос.

Однако именно в 90-е началось движение в сторону совсем нового театра. Начался диалог со взрослым зрителем от имени того самого юного максималиста, революционного юноши, взрывающего и опровергающего опыт взрослых. На сцене появился и футуристический текст Алексея Кручёных (*«Береника»*), и текст классика американской фантастики Рэя Брэдбери (*«Марсианские хроники»*) — то, что раньше в советском детском театре и представить было нельзя. Ну и, наконец, театр сменил название — теперь это был уже не Центральный детский, а Российский молодёжный. К рубящему воздух аббревиатуре — РАМТ — быстро привыкли.

Энергия 90-х долго перерабатывалась и в 2007 году переросла в оглушительную премьеру — это был *«Берег утопии»* Тома Стоппарда.

Восемь часов сценического действия. Три спектакля подряд — утром, днем и вечером (первый начинался в 12.00, третий — в 19.00). Целая толпа героев и персонажей, почти греческий хор. Зритель выходил из РАМТа, пошатываясь от усталости, потрясенный.

В то же самое время эта пьеса с огромным успехом шла на сценах Лондона и Нью-Йорка. Стоппард, один из самых актуальных драматургов современности, приезжал в Москву и вместе с актерами осваивал текст на русском, помогал в репетициях. Появилось — может быть, слегка преждевременное — ощущение, что *«холодная война»* кончилась навсегда, по крайней мере, в культуре.

Но дело было даже не в этом. *«Выросший подросток»* — выросший внутри детского театра, в его творческой лаборатории — заговорил с нами, окончательно ломая все стереотипы. *«Портретики»*, которые всегда лишь висели над партами в классе, сошли со стены и заговорили как живые, ранимые, очень противоречивые и страдающие люди — Белинский и Тургенев, Герцен и Огарёв, Бакунин и Маркс, московские профессора Станкевич и Грановский, — и мы с изумлением наблюдали за тем, как из их биографий, юношеских комплексов, болезненных отношений, любовей и разводов рождалась русская революция. В таком ракурсе мы ее, пожалуй, не воспринимали никогда.

Отныне задачей этого детского театра стало — говорить со взрослыми. Говорить от имени нового поколения. Говорить от имени тех, кто пришел нам на смену — или придет в скором времени. Пожалуй, *«Берег утопии»* стал главным событием «эпохи Бородина», который руководит театром, начиная с 80-х годов XX века. То есть уже почти сорок лет.

Это не значит, что из репертуара театра исчезают спектакли привычной «линейки возрастов» — для маленьких, для постарше, для школьников и подростков. Нет, они не исчезают. И даже наоборот. *«Приключения Тома Сойера»*, *«Принц и нищий»*, русские сказки Афанасьева и вечные *«Ромео и Джульетта»*, *«Манюня»* Наринэ Абгарян, *«Я хочу в школу»* Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, *«Сказки на всякий случай»* Евгения Клюева, *«Самая лёгкая лодка в мире»* Юрия Коваля — в РАМТе огромный репертуар для юного зрителя. Но появился он за последние десятилетия именно потому, что у театра есть сердцевина: говорить со взрослыми от имени новых поколений, ломать их стереотипы и даже будить их совесть, ответственность, как это делают наши дети порой с нами.

Может быть, это высокопарно сказано, но это именно так.

**12/2021**

Читайте:

**Девяностые и сегодня:
прошлое в настоящем**

Александр Григоренко:

Если не считать армию, то взрослым советским человеком довелось мне побывать совсем недолго. Наверное, поэтому, когда СССР рухнул, я не испытал внутренней катастрофы; не было опыта, той насиженности и веры, которые за годы врастают в сознание и удаляются только по живому, без наркоза. Но тех, кто вдвое старше — крутило и выворачивало...

Алексей Торк:

Мои 90-е были ужасны, но сейчас я понимаю, что это было время крупных людей, крупных событий. Мы попали в чудовищной силы историческую грозу, когда молнии были диаметром с колонну, грохотал вселенский гром, ветер срывал нам шапки. Это было страшно, но завораживающе. Во всяком случае, это обещало будущие очистительные смыслы — другой, великий день...

Олеся Николаева:

Мы попали в какой-то невероятный контекст. <...> Литература как живой процесс самосознания нации умерла. Это не значит, что и сейчас нет прекрасных поэтов, замечательных прозаиков и проницательных критиков. Но они <...> не формируют контекст. Каждый сам по себе и за себя. Перефразируя поэта, никто ни с кем не аукается «через степь». И здесь все мои надежды и чаяния начала 90-х потерпели полнейший крах...